

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Э 27
КАЗИМИР ЭДШМИД
KASIMIR EDSCHMID

Т И М У Р

ПЕРЕВОД М. ЕЛАГИНОЙ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ А. и Ю.
РИМСКИХ-КОРСАКОВЫХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕТЕРБУРГ—МСМХХІІІ—МОСКВА

Наши твердые сердца, как
горы, устойчивы.]

Насирэдин Тусский

ТИМУР

TIMUR

1916

Гиз № 4248.

Главитт. № 7557. Москва.

Отпеч. 5150 экз.

1-я тип. МСНХ. „Печатное Искусство“ Арендаторы С. Я. Цузмер и инж. С. Г. Гликин.
Маросейка, Армянский пер., д. № 6.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Казимир Эдшмид—один из главных вождей немецкого экспрессионизма и один из первых истолкователей его идеологии. Первый сборник его новелл появился в 1914 году и вызвал бурные споры о целях и изобразительных средствах нового направления. Резко отличаясь по стилю от своих предшественников—импрессионистов (вроде датчанина Иенсена, Генриха Манна, Шницлера и др.), Эдшмид смело выступил в 1917 году на защиту нового искусства и в ряде речей, читанных им не только в Германии, но и в Швеции, дал обоснование целому ряду лозунгов экспрессионизма, впоследствии нашедших многочисленных приверженцев. Его новеллы могут служить образцом крайне острого, напряженного, стремительного стиля повествования, вошедшего в обиход немецкой литературы после героических лет войны и революции. Нетрудно подметить, что молодое поколение немецких писателей (Штернгейм, Хазенклевер, Кайзер, Теллер и многие другие) пишет иным слогом, чем представители дореволюционной

литературы, как Гауптман или Томас Манн. Темп развития рассказа и чувство жизни героев коренным образом видоизменились и это ярко проявляется в повествовательной манере Казимира Эдшмида, в неистовой страстности характера его действующих лиц и в бешеном вихре образов и событий повествования.

Чего же хочет достигнуть, к чему стремится искусство экспрессионистов? В чем новизна его заданий? Отчасти мы узнаем это из речей К. Эдшмида „Об экспрессионизме в литературе и о новой поэзии“¹⁾, с которыми считаем полезным ознакомить русского читателя.

На первом месте стоит отречение от навыков натурализма и импрессионизма, от мироощущения эпохи, „подчиненной капиталистическим соотношениям и мещанскому образу мысли“. „В новом искусстве экспрессионизма не мыслится более мещанское понимание мира“. Этот девиз пламенными знаками начертан на знамени экспрессионистов.

Отбрасывается все, что затуманивает человеческий облик. Нет повестей о брачной жизни, нет трагедий, возникающих из столкновения условностей и свободолюбия, нет среды (Milieu), нет строгих начальников, жизнерадостных офицеров, нет больше кукол, привязанных к ниткам психологических мировоззрений, нет их игры, смеха и страданий, зависящих от законов, точек зрения, заблуждений и по-

¹⁾ Kasimir Edschmid. Ueber den Expressionisme in der Literatur und die neue Dichtung. 7-te Auflage, Berlin 1920.

роков общества, сделанного и сконструированного человеком. Все эти суррогаты отменяются рукой художника, из за кулис фальшивых чувств выступает простой человек, не „безокурая бестия“, „не кощунственный примитив“, — а просто человек. Он охватывает мощным, свободным чувством мироздание, его жизнь не управляется более мелочной логикой или стыдливой моралью. Великое, непосредственное мироощущение сплетает его неразрывно с космическим бытием. Он не размышляет о себе, а изживает себя. Он не крадется в о к р у г вещей, а схватывает их сердцевину. Он вовсе не бесчеловечен, вовсе не сверхчеловечен, он только человек, сильный и трусливый, добрый и низкий — такой, каким создан он творцом вселенной.

Эти новые люди вовсе не безрассудны. Но их мыслительные процессы протекают по законам и н о й п р и р о д ы. Они не искажены образованием, не рефлектируют, переживают не в привычном эхо, а непосредственно. И величайшая тайна нового искусства — в отсутствии привычной психологии. Переживание направляется по простейшим путям и не движется более по извилинам людьми созданного, людьми опозоренного образа мыслей, направляющегося по знакомым колеям причинных связей и никогда не возвышающегося до космичности.

Новое искусство обладает свежей силой действия и страдания, свободно отдается великим чудесам бытия, и новые люди не идут более обходным путем спиралеобразной культуры. Они просты, так как ведь простота приводит к величайшим откровениям.

С отклонением психологического аппарата исчезает вся накипь декаданса и открывается простор для захвата великих проблем жизни. Исчезает второстепенное в самой структуре произведения искусства, — „среда“ (Milieu) только слегка намечается; не нужно все чисто „декоративное“, всевозможные междувствия и десерты. Зато существенное, самое важное определяет стройность новой линии и формы. Если в скульптуре Родэна мы находим еще „мыслителя“, то в новом искусстве найдем „мышление“; не двух обнимающихся людей, а само „объятие“.

Тот же закон разрывает структуру творений писателя. Предложения иначе сплетаются в ритме; изгиб и мелодика определяют их, но не становятся самоцелью, напротив, предложения служат духу, их формулирующему. Фразы не скрепляются более „буфером логического перехода“ или же внешней пружиной психологии. Их эластичность заключена в них самих. Слово приобретает новую силу. Описательное слово исчезает. Слово метит в середину предмета и становится его кристальным образом. Духовный натиск и бурный вихрь чувства порождают новую технику слова и превращают творение искусства в видение (Vision), цель которого вскрыть наипростейшее, всеобщее и существенное. Новое искусство не исторично и не национально, оно стремится к универсальному и является делом всего человечества.

Понимаемый в подобных очертаниях экспрессионизм существовал во всякие времена, у первобытных народов в ощущении божества в

природе, в драматическом экстазе немецкого барокко (Грюневальд), в творениях Шекспира и в мягких сказках китайцев. Ныне же он захватил целое поколение Европы. Восторжествует ли он? Это решат сила, творческая сила молодых творцов нового искусства.

Таков, в самых общих чертах, художественный символ веры, провозглашенный Казимиром Эдшмидом на заре экспрессионизма. Дальнейший ход развития общественной жизни Германии, первым долгом пережитая революция 1918 года, во многом расширили возможности обновления жизни и литературы, но общее направление, намеченное столь экспрессивно Эдшмидом, удержалось и проявилось в творчестве многочисленных и разнородных дарований, в особенности ярко в области драматической поэзии.

Рассматривая в свете приведенных выше суждений Эдшмида три новеллы его сборника „Тимур“, читатель уловит, несомненно, характерные черты внутренней формы его произведений. Здесь нет ни фотографической точности воспроизведения действительности в плане исканий натурализма, ни пестрой мозаики мгновенных впечатлений импрессионизма. Характеристика неистово страстных героев новелл стремится поставить их духовную сущность вне зависимости от преходящих влияний среды и общественных форм жизни, выбирает для этой цели экзотическую природу, но пользуется ею не как декоративным фоном, а как основным тоном, сближающим их порывы с простором космического бытия. Нетронутая чистота верований первобытных народов оксанских островов („Бог*“); история безумной тоски

по прекрасному французского поэта средневековья Виллона, искусно сплетенная из биографий провансальских трубадуров („Герцогиня“); дикая насыщенность действия в повести „Покоритель“, напоминающая о столь же неистовом героизме „Тамерлана“ английского поэта Возрождения Марло—таковы мощные образы новелл Эдшмида, навеянные пламенной мечтой о свободном, сильном, простом человечестве.

А. Гвоздев.

Б О Г

Мать покинула его спустя полгода после того, как редила на свет. Он вскинул на воздух крепкие руки и дважды крикнул: «Ма». Потом, увезенная с Гоноруру большим парусником, она изгладилась из его памяти. Французенка-гувернантка звала его Жан Франсуа и мало уделяла ему времени и забот. Его три первых года прошли на берегу моря. Товарищами его были туземцы: китайцы и малайцы. Он ползал на животе и издавал загорелой грудью протяжные гласные,—и стал здоровым ребенком.

Через три года мать возвратилась. Она искала его по всему дому, в зданиях единственной на острове фактории, бегала по саду и нашла его на берегу в песке, посреди раковин и желтокожих. Она дала гувернантке-французенке пощечину и взяла своего ребенка на руки.

Она, всхлипывая, спрашивала его по-английски, как он себя чувствует. Но мальчик молчал, так как не понимал ее. Он говорил только на полинезийском и плохом французском языке. Мать была пылкой женщиной. Она

плакала и думала, что ребенка подменили. Ребенок молча глядел на нее большими глазами. Она отстранила его прочь от себя и целый месяц не подарила ни одним взглядом. Вскоре после этого он захворал, и тут, когда она, озабоченная и счастливая, ухаживала за ним, он сказал однажды поутру: «Ма».

Спустя некоторое время они начали понимать речь друг друга. Разразившийся недуг увлек в далекие края мать, уже начавшую прилепляться к ребенку своей мятущейся душой. Они отплыли на паруснике «Bounty», когда солнце окружало остров огромным венцом и исчезало в густой синеве. Один лишь кратер еще тонко дымился во мгле. Потом бесконечное море зашумело у них в ушах.

На третий день они пережили бурю, которая швыряла корабль по волнам так, что ходили стены кают. Жан Франсуа восторженно выдерживал толчки. Капитан приказал поднять стакселя. Их тотчас же порвало. У Маркизовых островов они бросили якорь. Дно было из раковин и известняка, — якорь не держался.

Тогда, во время лавировки, из бухты вылетело судно с украшениями из красного дерева и перламутра. Два дикаря держали тростники медного цвета и делали им знаки. Они послушно отвели их на буксире в бухту.

Один малаец поднялся наверх. Его тело было удивительно грациозно сложено. Ему объяснили, что им нужна вода, тогда он сейчас же крикнул в море, подставив руку ко рту, как чашу. Взморье покрылось лодками, которые вез-

ли воду в широких сосудах и битую птицу, ибо многие матросы страдали цингой. Жан Франсуа, сидя на руках у матери, прислонившейся к мачте, крикнул им несколько слов. Тогда они изумились и склонились перед ним. А их вожьд положил около него нож и сказал: «Роно... Роно...»

Вскоре они слышали гул. Птичьи стаи прошумели над ними. При легком бризе они направились к берегу. То было Перу. Они бросили якорь в гавани Каллао. В ночь дезертировало двадцать матросов. Их заменили испанцами. Медленно плыли они вдоль побережья, пока не достигли Антуфугаста.

Там они высадились. Они пробыли там немного дней, но климат ухудшил здоровье женщины. Она отправилась в горы к сернистому источнику, в котором купалась. Но Жан Франсуа не переносил горного воздуха и стал бледнеть. Поэтому, мать отправила его с несколькими слугами вниз в Вальпарайзо.

Когда мать вернулась, Жану Франсуа было шесть лет, у него были светлые волосы и темная кожа, и он говорил только по-испански и полинезийски (на наречии Таитском и тавайском), но ни слова по-английски. Тогда женщина решила никогда больше не покидать сына, пока он юн, сына, который был ей по пояс и с которым она не могла обмениваться ни единым словом, ничем, кроме чувства, струившегося из глаз в глаза. Она отправилась с ним вместе, и однажды утром пред ними снова появился под небесами широкий берег Оахуса.

Там, войдя в дом, они застали весть, что отец Жана Франсуа, проводивший три года в Риме и при папском посольстве в Скандинавии,—умер. Мать стала тихой и задумчивой, хотя ее душа была давно чужда судьбе этого человека. Жан Франсуа, напротив, отнюдь не понимал в чем дело и уклонился, когда она захотела дать ему объяснение.

Чувство его расширялось. Он прожил свою жизнь до шестнадцатого года целиком среди понятий и предметов, окружающих его. Мысли его были просты. Предметы принимали простые формы, в связи с примитивным существованием. Изредка только появлялись в поле его зрения пристающие к берегу европейские корабли. Но душа его крепко присосалась к берегу, к морю и стране.

Потом мать, желавшая еще четыре года носиться по свету, отослала его от себя прочь с тем, чтобы он вступил в европейскую атмосферу. Она снабдила его крупными чеками, и они проболтали друг с другом половину последнего вечера.

После этого он вышел в сад. Подле большой заросли белой малины стояла Калекуа, которая была сродни королевскому дому, цела и смотрела через сад на свое светлое, красивое жилище. Жан Франсуа, с грудью преисполненной далью, выкрикнул ее имя, имя той, с которой он делил первые игры ранней молодости. Она обернулась.

В это время ощущение причудливой дали, к которой он стремился, поднялось в нем широкой волной, и он, рука которого еще не касалась ни одной женщины, осы-

пал ласками тело девушки. Ее тонкие одежды исчезли под его руками, и он ощущал стремящееся к нему навстречу мягкое и чудесно округлое ее тело. Он схватил ее на руки и унес дальше в сад, в дупло платана.

Совершенно окутанный ее благоуханием, взмог он утром на корабль и поехал в Англию.

Уже спустя два года его мать последовала за ним. Они сняли дом вблизи Гайд-Парка. Летом они отправились в поместье в Шотландии. Они принимали много людей, собирали большое общество, имели избранных друзей. Из их владений им притекали, все увеличивавшиеся, мощные доходы. Позднее они продали свои привилегии и фактории и поместили капитал в английские предприятия.

Перед действительностью этого прочно обоснованного существования почти позабытая юность на южном море снова превратилась в сон. Жан Франсуа учился в Кембридже, разводил собак и имел притязания на дипломатическое поприще. К девятнадцати годам атмосфера светского победителя плотно окружила его.

В день, когда он получил высший приз для Западной Англии за игру в мяч, умерла его мать. Он узнал об этом, когда, закинув голову, пошел в сторону от судейской трибуны и увидел слугу, передавшего ему письмо.

Ему минул двадцать один год, у него было великолепное тело и прекрасная будущность, как говорили многие.

Он вернулся обратно в Лондон, закрыл окна и перед пылающим камином взял портрет матери и стал разгля-

дивать его. Его сердце не отверзалось для горячих слез. Он едва сознавал образовавшуюся пустоту. Непостижимое овладело его чувствами: удаляя от него подъем повышенных душевных переживаний, диктуя лишь поверхностные ощущения, оно заставляло его испытывать их, как нечто, раздельное от его внутреннего бытия. В результате он надел красный охотничий костюм и отправился охотиться на лисиц, отложив в сторону дела своей матери. Охота и быстролетная жизнь позволяли ему менее чувствовать легкое ошеломление, в котором он находился.

На одном изысканном обеде против него сидела певица, нежная кожа которой и большие глаза притягивали его взор. Чтобы лучше ее видеть, он взял корзину цветов и поставил ее на пол позади своего стула. Ее взгляд устремился ему навстречу, тоже стал покоряться на нем. Ее разговор был горяч и жив. Она незаметно подняла по направлению к нему узкий стакан, в то время, как чокалась с соседом. Когда все, выйдя из за стола, устремились в концертный зал, он встал за ее креслом и заговорил с нею. Она сказала, не оборачиваясь:

— Я не знаю, кто вы.

— Вы должны это узнать,—сказал он. Он круто поклонился и проходя мимо, вплотную, коснулся ее колена своим.

В этот вечер на ней было желтое платье, и ее прекрасные груди полные и крепкие стояли в узком вырезе. Легкая пудра покрывала сединой локоны, низко спускающиеся с головы.

Дважды отсылала она его прочь через лакея, пока, наконец, он не проник к ней, и она не стала его любовницей.

Однажды ночью, когда он казался ей слишком в ней уверенным, она, как и все женщины, спросила его о тех, которые ей предшествовали.

— Было несколько, но не много, это ведь, недорого стоит,—сказал он.

Она спросила, сколько времени прошло с тех пор, как он обладал последней,— и он пожал плечами.

— Кто они были, милый?

— К чему этот некрасивый вопрос?—сказал он тихо.

— Мое сердце бушует, желая узнать это. Чтобы больше любить вас.

Тогда он погасил свет и сказал:—Цветочница из доков, дама, девушка, танцовщица, милая женщина...

Она закрыла глаза и, пытаясь смутить его, открыла их перед его глазами:—Ни одна из этого перечня не удержала вас?

Она оглядела его крепкое тело и, чувствуя, что в переживаниях такого рода женственное должно проявляться во всей его исчерпывающей полноте, она мягко приложила свои груди к его щеке и спросила еще раз то же самое.

Тогда он высоко взметнулся, и в то время, когда, казалось, что он совершенно сливается с ней, он сказал, что покинет и ее, когда туман за окнами станет светлее. Он пробыл еще несколько часов, в течение которых он

гладил ее и в последний раз впивал в себя все ее существо, ибо она была хороша и благородна и плакала, закрыв глаза руками. Затем он ее покинул.

Утром он пошел на Темзу и выкупался.

Потом он вернулся домой, приказал укладываться и уехал в шотландское поместье. Но в первый день третьей недели своего пребывания там, он, охотясь, сорвался с горного хребта и сломал себе левую ногу. Его горец понес его вниз, в долину.

Они опускались все глубже вниз; тьма поднималась им навстречу, и чем дальше спускались они в покрытый тенью сумерок ландшафт, тем сильнее им овладевала тоска, причину которой он не мог понять. Они дошли до огня, до выкрашенного в масляную краску дома. Они крикнули хозяина и приказали ему отправиться на лошади туда, в темноту, чтобы позвать на помощь. Только на утро вернулся он с белобородым человеком, который выправил ему ногу. Когда кости вновь соединились одна с другой, Жан Франсуа закричал от боли, так тяжело давил этот кошмар его грудь.

Горец, отвернувшись, смотрел в окошко, и Жан Франсуа чувствовал, что он за него стыдится, и прикрикнул на него, и был несправедлив к нему. Но на другой день он подарил ему рога лося из своей коллекции, чтобы тот позабыл все: и стыд и крик.

Так как он долго лежал,—он враждовал с судьбой. Ибо он чувствовал, что гнет тяготеет на нем. Он хотел разогнать его. Он взором поднимался на вершины гор

и скользил ими вниз, в долину, по которой перекачивалось теплое, как земля, мычание коров. Он занимался, он читал. Он окрашивал материи. Он фехтовал, привязанный к постели, два раза в неделю с великим фехтовальщиком клана, чтобы его мускулы оставались крепкими. Но ничего не помогало.

Через шесть недель он снова отправился в Лондон.

Прежняя жизнь встретила его в той же форме.

Он схватился за нее, принял ее и стал жить дальше.

Однажды вечером его чувства пленила девушка, которая, идя ему навстречу, с властным движением головы выступила из тумана на свет фонаря. Она была коренаста, с гибкими бедрами, и на ней была заграничная меховая шляпа. Он повернул и последовал за ней. Они шли по улицам и переулкам. Целый час он ее преследовал. Они вошли в местность возле гавани. Переулки перепутывались, все больше влетаясь друг в друга. Тогда она свернула в сторону и скрылась. Дом, в который она вошла, имел заброшенный вход со множеством закоулков. Зеленый свет горел перед ним. Окна были из промасленной бумаги и освещены.

Жан Франсуа вошел. Уже в сенях он услышал, как началась музыка. Он вступил в залу. Слева сидели музыканты. Они играли на дудках и ирландских волынках. Один единственный сухонарый яростно бил в литавры.

В глубине, в дыму и чаду, зал поднимался вверх уступами из стульев и скамеек и неопределенно расши-

рялся. Впереди в сгустившемся воздухе колыхались пары. Крик и топот заглушал музыку.

На каком-то столе стояла одна из королев предместья, чудесно сложенный дичок, в красной шапке поверх волос, в спустившейся блузе, и, распевая, покачивала руками и головой, раскрасневшись от винных паров. Иной раз дым заволакивал ее совсем, потом снова выбрасывал навстречу взглядам. Ее глаза блестели, как влажные камни, грубый и распаленный рот был открыт.

Какой-то матрос подскакивал по полу большими прыжками и попытался, пролетая мимо, обнять Жана Франсуа. Но тот оттолкнул его далеко в сторону, пробрался сквозь танцующих к рядам стульев и присел к пустому столику. Лицо какого-то седобородого, всплывая, зашевелилось подле него, и ему подали пунш, остро пахнущий уксусом.

Внезапно дверь залы широко распахнулась и быстро захлопнулась, свежий воздух, ворвавшись, рассеял дым. Промасленные окна, которые, как светлые гнезда, сидели одно над другим, расчленив весь фасад, зацелкали от воздуха... Тогда он увидел в просвете, что на другом конце стола сидел человек, взгляд которого холодно мерил его. У него были зеленые глаза, романские брови, перехватывавшие лоб, и бледное лицо. Он носил одежду знатного человека, фландрские брызжи, но при этом выские сапоги.

Человек поднялся и пересел ближе, против него.

Внезапно музыка оборвалась. Танцовщица соскочила

с соседнего стола и, закинув сзади руки за плечи незнакомца, прижала свои тяжелые груди к его затылку. Она прильнула головой к его уху и смеялась, кокетничая через него с Жаном Франсуа. В то же время какой-то матрос засунул руку в карман сидящего напротив и вытащил двумя заостренными пальцами, словно червяка, сверкающий редкостный кошелек.

Этот случай развеселил Жана Франсуа, но тем не менее, он тотчас же пригвоздил к месту парня, выхватив карманный пистолет. Малый побледнел; за некоторыми столиками поднялся крик.

Незнакомец усмехнулся и взял кошелек, чтобы любезно передать его обратно матросу. Потом, заставив движением руки смолкнуть шум зала, он легким поклоном поблагодарил Жана Франсуа за его любезность.

Девушка села к нему на колени.

Его рука мимоходом ласкала ее, в то время как он просил Жана Франсуа высказать взамен какое-либо пожелание и вместе с тем дать ему возможность, в качестве иностранца, ответить на учтивость, как то подобает дворянину.

Но Жан Франсуа только улыбнулся, ибо ему ничто не казалось желательным, чего бы он не в состоянии был достигнуть сам.

Незнакомец тоже улыбнулся.

И настойчиво повторил, что он просит не пренебрегать им, а распоряжаться им безгранично, ибо завтра будет уже поздно,—и это огорчило бы его в то время, как

его эскадра будет уносить его в Индию. Потом он снова улыбнулся, ожидая изумления со стороны Жана Франсуа.

Но тот прорвал взглядом дым комнаты, повитав несколько секунд в дали, которая ошеломляла его бесконечностью образов, и, перенесенный к грезам своей юности, смутно взволнованный, сказал, охотно следуя предложению незнакомца (хоть и изумился смыслу и звуку своего голоса), что он просит о патенте, если это в его власти...

— Если бы вы...

Но незнакомец вынул лист бумаги, покрыл его несколькими значками и передал ему. То был диплом первого лейтенанта и второго *Suprakargo* на корабле по имени „*Santa Cruz*“.

Жан Франсуа зорко посмотрел на него. Затем поклонился ему.

Незнакомец протянул ему узкую женственную руку, на которую девушка, сидевшая у него на коленях, капнула несколько капель вина. Но, прежде чем ударить по рукам, Жан Франсуа сказал, что знает, как крепко это его связывает, и что внутренне он не берет на себя никаких обязательств, ибо он привык проводить время, как ему угодно, делать, что ему нравится, и быть таким, каков он есть. Но тот, с зелеными глазами, сидевший против него, не дал на это никакого ответа, принял рукопожатие и указал на улицу, где топали лошади.

Они встали и покинули комнату. Девушка хватала их за полы. Они не обратили на это внимания.

Повозка, запряженная белыми лошадьми, стояла в переулке.

— Вы все найдете,—сказал незнакомец,—но вы не должны мешкать.

Жан Франсуа простился с ним, так как ему нужно было еще кое-что уладить, и сказал, что они скоро увидятся. Повозка покатила в гавань. Гребной баркас доставил его на корабль.

Еще в ночь спустились они вниз по реке. Утром Англия расплылась позади них, как серая пена.

Когда морская ширь развернулась перед ними, сердце Жана Франсуа переполнилось буйными биениями. Он взял свое обмундирование на корабле. В то время как он переодевался, в его каюту вошел офицер—он как раз менял панталоны—и попросил его пред'явить патент. Жан Франсуа протянул его:

— Вы будете поражены при виде того, как я ринулся из разгульной ночи в эту поездку и в эту должность в моем вечернем костюме, лейтенант Бодрикур. Так уж меня потянуло.

Лейтенант вежливо поклонился и ответил, что это ничего не значит, ибо он сам прибыл на фрегат в ночном халате и с белой шелковой дамской подвязкой. Он сложил бумагу и сказал:—Я знаю, кто вы.

Он был учтив. Он был француз, перешедший, подобно многим, на этот корабль, и хорошо воспитан.

Вечером, когда он пригласил офицеров на большой обед, Жан Франсуа узнал, что они должны соединиться

с пятью другими кораблями, предназначенными к принятию хлебных деревьев в Южном море и перевозке их в Вест-Индию для посадки. Палубы были косые, выложенные свинцом, с желобками для стока воды. Между верхними палубами были высокие помещения, и в двойном полу стояли сотни чанов.

Через четыре дня они встретились с эскадрой. Сигналы вызвали офицеров на адмиральский корабль. Они выстроились полукругом на шканцах.

Тогда в сопровождении большого штаба появился человек знатный и благородный. У него были зеленые глаза, романские брови, перехватывавшие лоб, и бледное лицо. Глаза сверкали. Офицеры низко поклонились.

Он медленно склонил голову. На его груди еще колыхался крест святого Людовика. Его шпага была изумительной работы. Это был адмирал.

Он подошел к Жану Франсуа, после того, как отдал приказания, и тихо назвал себя по имени:—Д'Аше,—и попросил пойти с ним. Они спустились глубоко вниз, по нескольким лестницам. Потом вошли в просторное помещение.

Виконт поднял подевичник и указал на клетку, в которой, согнувшись, сидел человек; клетка висела высоко под потолком на канатах. Он за ручку приказал спустить ее к себе. Жан Франсуа увидел, что это был матрос, которому он, шесть вечеров тому назад, наставил дуло своего пистолета под ложечку, и граф, усмехаясь, сказал:

— Молодой человек, я ценю вашу любовь к иным

атмосферам, в которых жизнь течет резче и напряженнее, чем в отмеренной нам. Я тоже люблю это. Вы будете хранить об этом молчание,—слышите. Я завербовал вас, ибо жду от вас при этих ваших склонностях крупного и неистового.

— Но тогда с пистолетом,—это была глупость. Вы не чувствуете стилиа. Нас разорвали бы в клочья. Это делается иначе. Вот я доставил этого сюда позднее сам и один. Спросите его.

Матрос застонал, но не ответил.

Жан Франсуа поехал со своими офицерами к себе на корабль.

Впродолжение плавания он больше не вступал на адмиральский корабль.

Их было три лейтенанта на фрегате. Он, Бодрикур и Жюль Лабе. По ночам Бодрикур вздыхал на луну и переживал стихи великих поэтов, когда море горело беспорядочными отсветами. У Лабе была взята с собой креолка; она лежала в гамаке под большим парусом и курила.

Бодрикур часто играл ей на длинной серебряной флейте и пел теплым тенором.—Она закрыла глаза, открыла их в направлении Жана Франсуа и попросила его привести ей поиграть ее борзую собаку. Она подуськивала ее, гоняя по палубе, и ее неистовый лай врывался в вибрации флейты. Бодрикур кусал губы и сказал:

— Сударыня, если вы не любите игры, я швырну флейту в море, хотя ее и подарил брату моего отца Рителю.

Креолка изогнулась в своем гамаке и сказала:

— Но я люблю музыку.

Собака прыгала через гамак взад и вперед, а креолка до тех пор глядела на Бодрикура, пока он в отчаянии не ушел на шканцы и не устоялся в даль.

Вечером они заложили банк в фараон и играли.

Когда они плыли мимо мыса Горн, на них налетел боковой вихрь и швырнул их на риф. Так как руль случайно был повернут, то они проскользнули вплотную мимо рифа.

Снова летели они по голубому зеркалу ветров.

Однажды утром перед ними очутилась земля. Они подняли головы. Они только медленно сообразили, что это была земля. Они плыли уже впродолжение недели.

Отвесно поднимался темный берег, совсем не изрезанный бухтами. Два дня они искали пристани на западном побережье, но ничего не нашли, кроме вала черных камней, из которых реки плевали в море. Тогда адмиральский корабль подал сигнал и они пошли на восток.

Тут поднялся туман и повис в неизменном положении, как мистический плат в вышине. Горы тысячью вершин, белых, как снег, глядели в небо, которое неизреченной синевой сбегало вниз по их очертаниям. Перед ними открылись изогнутые бухты, сочные и зеленые, подступавшие к морю.

Они бросили якоря.

Потом они высадились. Тут из кустов с криком выскочила толпа жирных туземных женщин. Но они не

бежали вперед, а продолжали метаться в неизменном возбуждении на одном и том же месте.

Посередине, между берегом и мечущейся толпой стоял кедр с оливковыми листьями. Рядом же с ним стоял желто-коричневый туземец и держал поднятую вверх руку. Он не подходил и подпустил их к себе. Офицеры вежливо приветствовали его, — так много было в нем достоинства. Жан Франсуа заговорил с ним. Когда тот услышал родной язык, глаза его безмерно расширились, он коснулся своего носа и низко поклонился. Они стоворились предпринять экспедицию на следующий день. Они прокладывали путь по пемзе и черному стеклу, пока, наконец, не пришли в долину, где было много хлебных деревьев. Жан Франсуа приказал их выкорчевывать и переправлять на корабль.

Предводитель поклонился, не произнес ни слова и не спускал с него глаз.

На обратном пути они пересекли болото, в котором росло много тополей. На крайней границе топи, там, где местность начинала уступами спускаться к морю, сидела женщина; она грызла корень папоротника, раздиргивала по волокнам и совала в рот грудному ребенку. Был полдень, и солнце отвесно падало на женщину.

Она подняла взгляд, остановила его на Жане Франсуа и высоко подняла ребенка в воздух. Трижды описала круг и убежала прочь, крича и махая руками.

Страна эта была — Новая Зеландия.

Ночью Жан Франсуа вышел на палубу. Сон не при-

ходил к нему. Он видел лежащие напротив мягкие берега. Он думал. Он никогда не бывал на этом острове. Он оглядел небо. Луна еще катилась над западными горами. Он почувствовал себя очень легким и окруженным неслыханным волнением. Он долго прислушивался, страхнул капли воды с рукава и пошел вниз.

Ночью пала роса.

В следующие три дня они нагрузили половину кораблей деревьями. На четвертый день они отплыли.

Они шли на север.

Корабли, полные музыки, скользили между удивительными островами, мимо бухт, усаженных пингвинами и прорезанных ручьями. Они целый день лежали на палубе и курили. Море было легко и едва колыхалось. И острова, выросли из него, вместе со сверкающими красками и птичьими криками, как водяные цветы.

Когда они лавировали в путанице пресных бухт, креолка пыталась соблазнить Жана Франсуа. Вечером, после установки на якорь, она спустила ногу с гамака и легко водила ступней по его руке.

Но он повернул фонарь наискось, так, что гамак оставался целиком в поле зрения Бодрикура.

Они пристали еще раз в Гуаме, чтобы забрать воды и остаток груза. Они пробыли две недели в гавани, защищенной ото всех четырех ветров. По утрам бухта была красной от морской травы, морских волков и морской крапивы. Большие черепахи медленно проплывали мимо.

В полдень они направились в город, который стоял

на сваях. Испанский губернатор, дон Симон де Ауда, вызвал караул и каждый день выходил в полной форме им навстречу. На его веранде они угощались шоколадом и длинными сигаретками, которые он непрерывно крутил сам. Потом они поехали в глубь страны, покрытой глубоко вдающимися в первобытный лес саваннами; по ним ходили белые быки с темными ушами. В последний вечер губернатор устроил им празднество.

Туземцы, остатки которых были согнаны испанцами на этот остров, так как они бунтовали и в отчаянии принуждали женщин не донашивать детей, двигались с фонарями и быками по мягкой травянистой равнине, обросшей лесом. При вспышках костра и резких криках мужчин дрались два петуха: испанец сидел перед ними, гордый и неподвижный. Они торжественно простились. Но в последнюю минуту, уже на берегу, из глубины страны явилась толпа женщин с красными клешнями омаров в ушах, и они, окружив офицеров, положили дары педле Жана Франсуа. Жан Франсуа не пошевелил губами.

Последний раз они пристали у Филиппин. Губернатор прислал приглашение через своего чиновника, туземца, в штанах из красного шелка и в белой китайской рубашке. Он бесконечно долго упрашивал остаться. Испытываемая им скука не уравновешивается его орденами. Он посулил оленей, усеянных звездами, и хвостатых туземцев.

Жюль Лабе сказал улыбаясь, что одно чудо стоит другого, и взглянул на Бодрикура. Креолка сохраняла ироническую складку и просила достать ей белой мате-



риш, которую носил чиновник. Жюль Лабе отвел его в угол и купил рубашку за пистоль. На нем лишь рдели штаны, когда он, полуголый, кивнул им на прощанье с берега. Всю ночь острова плавали под мягкие звуки мандолины.

Утром взвился сигнал к отплытию.

В полдень поднялся с моря вихрь, вырос до небес и, как снаряд, разметал корабли в разные стороны.

Целыми неделями они блуждали на фрегате в бурю.

Когда им уже казалось, что они хотят смерти, и все представлялось безразличным,—опустился мягкий вечер. Волны вдвинулись друг в друга, пробегал маленький и нежный ветер. Горизонт растекся, как комок пены. Узкая бухта вытянулась перед ними в последних лучах света. Они не знали, где находятся. Буря раздробила компас. Только по положению солнца они обнаружили, что им следует идти на запад, и с посветлевшими лицами одели корабль парусами, так, чтобы он быстро заскользил. Они не бросили в сумерках якоря, ибо измерения лотом были благоприятны.

Они предоставили фрегату плыть. Сумерки украдкой вдвинулись между сушей и кораблем. При легком бризе они проскользнули в теплое море, с причудливо вздувшимися парусами.

Тогда, в то время как другие ели, Жан Франсуа спустил руки с борта. Его сердце расширилось. Он почти шатался. Несомый подъемом, он пошел на шканцы. Сердце у него прыгало. Он окинул глазами корабль. Он не знал,

что делал. Но гордый и сияющий, он спустил самую маленькую лодку, прыгнул в нее и отчалил от фрегата в темноту, которая так притягивала его, что пульс у него горел.

Он ушел, не прощаясь, с пустыми руками, с ушами, безмерно переполненными слабым порохом отдаленного прибоя.

Но отлив шел ему навстречу. Он греб, напрягая все мускулы. Но он двигался вперед, и это рассердило его так, что, подняв весло, он погрозил в темноту.

Он продолжал работать. Он греб всеми мускулами, но отлив шел ему навстречу и отбрасывал его назад. Ночь была длинна. Волны одолевали его. Рифы нагромождались. Киль часто задевал за кораллы. Но не треснул.

Лицо его сияло, так что тьма рассеивалась кругом. Его глаза вшивались в сушу, и он подтягивался к ней на этой цепи. Под утро он обехал коралловую бухту и выплыл в прозрачную воду. Когда под его лодкой заскрипел песок, сумрак растаял. Берег был свободен. Он перепрыгнул на него гигантским прыжком.

Утро вставало, и свет низвергался на Жана Франсуа.

Перед ним стояли туземцы, искавшие раковин. Но когда он появился среди них, они остоленели. А один из них подпрыгнул в воздух, завертелся вихрем и закричал, как в горячем смехе.

Но другие упали на землю. Они лежали, как подкошенные. Женщины глядели вверх и прикрывали себе волосами рты. Потом они закричали: «Роно... Роно»—и больше ни слова.

Он приказал им встать. Они отступили.

— Какой остров?—спросил он на языке О-Танги.

Но они ответили на чистом наречии:

— Оаху,—произнесли они, чуть живые.

Но он давно не слышал этого языка. «Оаху»—сказал он и оглянулся. Его глаза закрылись. Кровь кинулась в голову. Потом она отлила обратно. Взгляды охватывали все.

Одновременно он позабыл все прошедшее. Оно не имело больше для него никакого значения, оно провалилось, как кулиса. Англия ускользнула из его сознания. Бодрикур, креолка отлетели от него, подобно призракам. Все минувшее казалось ему лишь таинственным (даже непостижимым) стремлением, направленным к этому берегу.

Так он понял все во мгновение ока. Вобрал в себя покатость берега, шум прибоя, смирение туземцев и нежное деревцо майя, которое росло одиноко на берегу.

Когда все позади него погрузилось в глубину, когда в нем не осталось ни одной мысли, которая еще искала бы плывущий среди отдаленных волн корабль, и ничто больше не отзывалось в нем на это воспоминание, тогда в нем поднялась нежность, повинувшись которой, он преклонил колена. Погрузив лицо в белый песок, поднялся, вертя головой, и завопил, как животное, в сторону острова.

Тогда туземцы ринулись в лес.

Уничтожив в своей душе старый мир и жадно чувствуя вступление в нее нового, он последовал за ними.

Было тихо. Деревья плотно смыкались над ним. Он

шел. Летучая мышь распустила крылья перед ним и полетела. Корни впивались в дорогу, словно когти. День поднимался. Трогу лазал по пальмам. Он благословил его. В хвощах шуршал угод. Становилось тише. Его сердце вздымалось до вершин кокосовых пальм и ширилось над ними. Его сердце простиралось шире леса и сплеталось с ним, так что каждый шорох листьев отдавался в его полостях. Он испытывал нежность ко всему. В полдень он увидел длинную заостренную голову, с высоко поднятыми ушами. Это был кабан. Он поглядел на Жана Франсуа, тот погладил его.

Он пошел.

Потом он пришел в маленькую лоцину. Она была узкой и заросшей, стены гор обрушивались вниз. Внезапно вышел он из чащи и вырвался на простор. Долина была подобна раю. Пальмы на солнце покачивались над хижиной.

Перед хижинкой стояла девушка.

Когда он приблизился к ней, она склонила колена и прошептала:

— Роно.

Он подошел к ней и сказал:—Люби меня.

Она была бела, как французенка, с металлическим блеском кожи. Ее руки и ноги были стройны и мягки. Она встала.

Она подняла руки. Под мышками пробивался медный пушок. У нее были темнорыжие и гладкие волосы.

Она подняла руки и обвила их вокруг его шеи. Он

понес ее в хижину, полный ощущения нежного напора, с которым она прижалась к нему, словно умирая подле него.

Он спросил, как ее зовут. Она не посмела произнести перед ним своего имени. Тогда он назвал ее Калекуа, ибо она была похожа на ту.

Но через несколько дней его стало тяготить, что он носит в себе неразрешенным, волнующимся то прежнее переживание. Он отправился в путь, и шел с ней две недели через лес до Гоноруру, к южному берегу. Там он узнал, что Калекуа умерла, и это исполнило его радостью, ибо теперь ему казалось, что все перешло на эту женщину.

Он построил в двух днях пути от маленького туземного городка дом на черном холме из лавы, высившемся над бухтой.

По утрам они тотчас же взглядывали на море, где лодки тянули за собой светлые полосы пены, и серебряные валы катились у кораллов. Однажды в открытом море долго стоял неподвижно корабль, принадлежавший американским купцам; они везли в Китай сандаловое дерево, где оно возносилось в виде ладана в пагодах. Больше кораблей не приходило.

Часто шли дожди. Но небо оставалось сияюще голубым, и капли свисали над морем, как прыгающая проволока.

Однажды утром Калекуа взяла его за руку и вела его целые часы. Они прокладывали себе дорогу сквозь

напоротниковую заросль и кустарники. Поздно пришли они в ущелье. Калекуа не выпускала его руки. Внезапно, после того, как они долго шли под нависшим утесом, они вышли на простор.

Над ними слышался гул. Они подняли головы. Он увидел поток, низвергающийся с одной стороны ущелья; подхваченный на своем воздушном пути вихрем, взметнувшимся как раз вверх перед ними, он оказался перенесенным на другую сторону. Вихрь стоял в ущельи, как сняя спираль.

Калекуа вопросительно взглянула на него.

Тогда он окрикнул ее, остановил и спросил:—Что тебе нужно?

Она сказала:—«Роно»,—и больше ничего. Но ее глаза вопрошали. Они повернули назад.

Иногда туземцы приходили на опушку леса, смотрели на хижину и робко уходили обратно.

Воздух был прозрачен и светел. Шорохи бесконечно растекались. Звуки от отдаленных рыбацких лодок долго поднимались вверх. Ночи редко бывали холодными. Три кокосовых пальмы стояли вокруг их хижины. Наступала буря, и они клонились низко, как трава, к морю. Стало жарко, но легкий бриз ясно уплотнял воздух и делал климат словно из шелка:—гладким и прохладным.

Существо Калекуа было прозрачным и сияющим, и ее кожа была подобна бледному янтарию. Иной раз она трепетала при виде Жана Франсуа,—и, казалось, она точно расцветала и распускалась под его взглядом, в своей

постоянно возрастающей неземной преданности, в стремлении вести его за собой и вместе с тем дотянуться в своем росте до его души,—так что он в объятиях ее ношей чувствовал себя словно парящим.

Однажды он встретил ее, когда проходил по лесу. Она сидела подле дерева охийо, играла его красными плодами и держала один из них между колен. Ее рыжие волосы были туго затянуты назад. Она пела:

Inoa o Mauae a Para
He ahe matou auanei
O Mauae, te wahine herua nui
Wahine mahei pono
Tuu ra te Ravaia
I ta wahine maheai
I pono wale ai te aiaha o oruo
I ravaia te tahe
I mahe ai te wahine
Mahe te ai na te ohuo
I ai na te puari.

Такая просветленность была сосредоточена в ее лице, что он не осмелился заговорить с нею. Он закрыл глаза. Потом, как лисица, он опять спрятал голову в чащу.

Дня два, не переставая, шел дождь. Потом слоистый свежий воздух поднялся вверх. Жан Франсуа лежал на своей постели и, скучая, жевал лимонные листья. Вошла Калекуа. Она была еще влажной после купанья. В ее волосах торчали четыре белых пера.

— У тебя белые перья?

— Это знак королевского достоинства.—Она погладила их.

Ее грудь трепетала. Она кивнула. Потом она пошла одна по дороге к Гоноруру, на церемонию к королеве, родственницей которой она была в третьем поколении. Жан Франсуа целый день пробегал по лесу.

Вспархивали летучие мыши. Они не раздражали его. Ни один трог не восхищал его взора. Он швырял плодами в кабанов и рычал полной грудью, так что звери разбегались. Он ринулся домой, когда звездный свод навис над лесом, и пролежал ночь без сна, с искаженным, обращенным к небу лицом.

Утром он вымылся, взял челнок, отплыл в море, горячо пел, прибыл ночью в город и скитался по переулкам. Под утро пришел к большой бухте. В море стояли в бледно-сером серебре семь кораблей. Он не мог понять. Он вгляделся. То были не его корабли.

Три из них были перевозчики сандалового дерева—американцы. У других были неуклюжие очертания и серая окраска китобоев Южного моря. Он не мог постигнуть, зачем эта большая эскадра находится здесь, где обычно причаливали только немногие и то с перерывами в целые месяцы.

Он повернул обратно и вошел в освещенный домик. Там орали матросы. Они перекатили сюда с кораблей бочки рома. Он подошел к владельцу и отвел его в сторону. Это был старый китаец, он знал его. Он взглянул на него снизу вверх и сказал, что уже четыре недели как

матросы и корабли собрались у этих берегов. Жан Франсуа изумился, но страсть его влекла к Калекуа. Из за нее он позабыл все.

В то время, как он сидел в большом ананасном-саду ее дяди Куакини, американцы начали обстреливать дом королевы. Они как раз обедали. Жан Франсуа выскочил вон. Между стоящими на якоре судами и берегом кипели лодки.

Белый шел ему навстречу. На нем был убогий сюртук, прикрывавший его железную грудь, у него было застывшее лицо, обрамленное кудрями. Он был миссионером на кораблях.

— Зачем вы это делаете?

Миссионер заговорил о ранах Христа и поднял библию.

Тогда Жан Франсуа с размаху ударил его по лицу.

Туземцы бежали из всех домов. Матросы направили орудия на берег и стреляли фунтовыми ядрами. Дома с треском разваливались. Дом королевы пылал. Жан Франсуа вернулся обратно в сад, взял Калекуа и убежал с ней. Повсюду широкой цепью люди стремились в лес, куда матросы не могли за ними последовать. Некоторые оставались, воздевали руки вверх и делали смиренные движения, крича—«Роно».

Но он обнял Калекуа и не спрашивал ни о чем.

Два дня они шли по лесу. В тот же вечер, когда они достигли своей хижины, он поехал на море. Он видел свой темный утес из лавы, стремящейся к небесам, и свой

дом, возносимый им, как на гребне волны. Он видел изогнутые берега бухты, распростертые по обе стороны залива. Увидел нависшую сводом бескрайность леса, светлый песок, раковины, солнце... он пел, он ощущал в горячем возбуждении, что все это принадлежит ему, и что он вновь вливается в это, как в белое тело Калекуа.

Но Калекуа тревожно бродила кругом. Блеск потух в ее глазах. Она ничего не говорила, она долго глядела на него. Вокруг хижины было пустынно. Редко появлялись туземцы. Воздух становился все чудеснее и был напоен благоуханием.

Однажды Калекуа осмелилась заговорить и попросила его подумать о несчастьи. Он не понял ее. Она подразумевала город и сказала это. Жан Франсуа позабыл об этом, когда выплыл вечером в море, ибо оно лишь вскользь задело его великое чувство и осталось в стороне. Раз он вновь обрел вершину своей души, что ему до того, что матросы грабят кокосы!

И он рассмеялся и сказал ей это.

Но она закинула ногу за ногу, словно играя, и сказала:

— Они все еще там, рыскают и ищут королеву.

— Чего ты хочешь?

Тогда Калекуа указала на свои белые перья и попросила разрешения пойти к спрятавшейся королеве, и затрепетала перед ним.

Боль на мгновенье забушевала в его груди, когда он подумал, что она пойдет, но он взглянул ей в глаза и отпустил ее.

На четвертый день ее отсутствия появилась на горизонте эскадра. Жан Франсуа лежал на животе, свесившись с утеса, и поджидал ее. Мягко покачиваясь, она неслась ближе. Внезапно он отдернул голову назад и тряхнул ею. Потом вскочил и побежал домой.

Сомнения нет. То его собственные корабли.

Он сейчас же написал письмо. Он писал, что жирные китобойные суда загрязнили берег, на котором он живет. Их следует расстрелять, хоть это и презренное ремесло. Он ушел с корабля так же, как и пришел. Он подготовил их к этому, хотя и не знал, для чего. Поэтому он не просит извинения, ибо лишь понимание того, что таковы его стремления и нрав, объясняет его поведение.

Когда в сумерках корабли бросили якоря, он подплыл к ним и кинул письмо на адмиральский корабль.

Ночь пролежал он без сна. Он размышлял о прошлом, о том времени, когда старый мир снова захлестнул его. Его мозг не находил к нему моста. Его сердце дивилось этому миру. Его жизнь казалась лишь второстепенным приготовлением к тому состоянию, в котором он обрел высшее равновесие своего бытия. Он поднял раковину и с благоговением высосал ее. Он погладил пол дома и почувствовал себя потрясенным. Он усмехнулся, поднял руку, и от этого движения прошлое вновь исчезло в безбрежном.

Утром адмиральский корабль обменялся сигналами с берегом. Граф д'Аше стоял на мостике в полной форме, с лентой ордена святого Людовика через плечо. Он сигнализировал;

«Сударь мой. Вы дезертировали. Я заковал бы вас в кандалы, если бы изловил. Я пошлю пятьдесят человек обыскать берег. Вас изловят, как галку. Ваша просьба о помощи принята, так как она справедлива. Я поеду завтра. Под конец, примите от джентльмена уверения в дружбе, полной восхищения».

Вскоре затем пришла Калекуа.

В полдень пятьдесят человек со штыками стали обыскивать берег. Жан Франсуа не убегал. Он знал, что они не найдут к нему дороги и, действительно, они не нашли ее. На другое утро, они разрядили металлическую пушку, встали, крейсируя, по ветру и понеслись из бухты на Гоноруру.

Калекуа приобрела новую манеру ходить, она менее, чем прежде, касалась земли, ее руки имели свой собственный ритм, и глаза видели насквозь окружающие вещи. Торжественность пленяла Жана Франсуа, и он попросил Калекуа свести его к королеве, когда она снова пойдет к ней. И пристально поглядел на нее.

Она испугалась и стала коричневой в лице, и сказала, замирая от счастья и страха:—Я согласна.

Они обедали за столом перед домом. Она принесла карабассу с тестом, жареную свинину и сладкий картофель. Когда она подала деревянную чашку с водой, он снова заметил, как она хороша.

Она села против него, покусывая корень яма. Пальмы качались в воздухе, снизу доносились звуки моря.

Тогда он указал вниз и сказал, что он послал чужие

корабли против кораблей, идущих в Китай, и не дрогнул в лице. Она же, не доверяя, безмерно задрожав, вскочила, повернулась, словно для того, чтобы бежать, вернулась назад и поцеловала его в грудь между сосков и, не смея поднять на него глаз, прошептала: «Роно». Жан Франсуа рассердился на слово, которое было обращено к нему, хотя он не понимал его, пригрозил ей и спросил ее, что она хочет сказать.

Она снова подняла к нему взгляд. Но она возвела глаза только до того места, в которое его поцеловала, и, почти теряя сознание, сказала:

— Ты хотел к королеве. Она желает видеть тебя.

В ее осанке выражалась слабость. Плечи повисли. Она вернулась в дом, вышла назад и надела белые перья. Она взяла его за руку и сказала:—Идем.

Потом они вышли в лес и покинули дом.

Дверь осталась открытой.

Море синим гулом вливалось в него.

Калекуа оглянулась еще раз.

Ночь они спали в дупле платана. Утром пошли снова. Когда солнце стало прямо над головой, они пришли к горному проходу, идущему извилинами, вперед. Они шли долго. Внезапно дорога оборвалась. Из куста вышел человек, лицо которого было разрисовано соком камеди. Он поклонился. Калекуа сделала знак рукой. Тогда он пошел впереди них.

Они пробрались сквозь кустарники и пошли по местности, выжженной хуже, чем пустыня. Кучи земли взды-

мались, как волны. Трещины испещряли землю. Сухие кусты лепились по краям обрыва. Калекуа схватила его за руку. Они перелезли через кучу лавы, свернули и сошли с маленького уступа вниз.

Почва низко опустилась, и бежала мощными извилинами, вокруг глубоко залегающей полоски воды, в которую опять врезались языки и волны суши, теряясь на горизонте.

Из воды выступали конусы, как островерхие кротовые кучи. Из их отверстий бесшумно поднимался белый пар. Конусов были сотни. Один из них брызгал чем-то желтым из своей тонкой, как стекло, глотки.

Рука Калекуа вела его дальше. Перед ними шел разрисованный человек. Его спина содрогалась.

Жан Франсуа шагал упруго и легко. Его сердце бушевало в великом ожидании. Его взоры предвкушали переживание дня и алкали его.

Они вновь поднялись. Все пылало от солнца. Земля причиняла боль подошвам. Ниоткуда не долетал ветер.

Тут показалась стена, сбегавшая по хребту длинным и пустым полукругом. На ней был установлен древесный ствол, кругло обтесанный, со многими узкими желобками, которые сбегали вниз. На нем примостилась, почти стеся, какая-то фигура. Она была согнута в коленях так, что бедра сладострастно и широко вздулись. Тонкие и укороченные руки свисали безжизненно к земле. Груды были малы и сидели вплотную под шеей. Голова, состоявшая из одной единственной разинутой пасти, была в племе, оперение которого свисало до самого таза.

Они описали дугу и вошли в проход вплотную у стены. Сначала было темно. Потом стены начали выделять свет, который пронизывал пещеру матовым желтым мерцанием. Воздух был мягок. Большой палец Калекуа скользил по выпуклостям руки Жана Франсуа. Желтый свет от стен стусился в фосфорический блеск.

Навстречу им прозвучал голос, который задержал его шаги. Но Калекуа встала перед ним. Он спросил:—У цели, Калекуа?—Она полуобернулась и сказала:—Жрец, который знает будущее и потянула Жана Франсуа за руку. Они были в круглом зале полном света. Посредине стоял овальный и грубо вырезанный ящик с решетками до половины высоты.

Калекуа указала на свои перья, коснувшись их обеими руками и сказала:—К королеве.

Когда раздался заглушенный звук, она хотела пройти вперед. Но Жан Франсуа, высвободившись от нее, подошел к ящику и строго спросил о значении слова, которое повсюду настигало его и которое мучило его сознание. Он спросил:—Что такое Роно?

Из-за решетки высунулась голова с пергаментными щеками, с заплетенной белой бородой, уставилась на него и испугалась. Потом голова спряталась назад, и смиренный дрожащий голос спросил изнутри ящика, зачем он шутит. Но Жан Франсуа потребовал ответа.

Тогда голос раздался снова. Сказал—если уж ему повторять вещи известные, что Роно был бог, который обитал на острове, потом дал людям разрешение заселить

его, но они плохо чтили бога. Тогда он разгневался, перебил многих и покинул остров... И что он вновь вернется на корабле, всеильный.—Бог, бог,—сказал он и жалобно завыл.

Лицо Калекуа застыло. Жрец скулил и двигал свой ящик так, что он вертелся вокруг оси и издавал гулкий шум.

Теперь Жан Франсуа знал сокровенные мысли Калекуа.

Они продвинулись дальше. Реющий свет прекратился, освещение сделалось более дневным, голубым и прозрачным.

Внезапно стена с одной стороны провалилась глубоко в наступивший мрак. В конце темного помещения он все-таки увидел проникающее в него светлое небо. Когда они опустили глаза, перед ними открылось море и потом еще глубже город и бухта.

Жан Франсуа приучил глаза к сияющему свету. Тогда он увидел бухту, переполненную лодками, спешащими прочь от берега. Вокруг утеса плавали чужие корабли, с которых поднимались белые облачка.

Калекуа прижала его к стене.

Резкий шум поднимался снизу. Десять юношей шли впереди шествия. Они дули в рожки из белой кости, которые звучали резко, подобно пастушеской дудке. За ними следовали другие, с горящими пучками прутьев, издававших запах мускуса. Потом шли, притапывая, кружа ногами, девушки в желтых плащах. Они держали в левой

руке короткие и толстые палки, в другой большие обструганные, полые и выбивали на них дребезжащий такт. У двоих были барабаны из кожи акулы. Они глухо трещали.

Они пронеслись мимо на холм, и их выкрики раздавались сильнее и однозвучней по мере того, как они наблюдали битву. Калекуа схватила его. Они пошли дальше. Снова стало темно. Но потом опять поднялся мягкий и нежный воздух. Они остановились.

Перед ними был пруд. Узкий кусок суши кругло замыкал его. Над ним поднимался к небесам широкий кратер.

Из воды медленно выходили женщины. Сперва вышла одна. Все они, кроме этой первой, были в шлемах с красными перьями понугаев. Только у одной был убор из пальмовых листьев.

Первая же махала в легкой резвости руками по воздуху, чтобы осушить их. Синева плотно сомкнулась за нею. Она была стройна с чудесными, высокими ногами и обнажена.

На ее лодыжках были кольца из гардений.

Ее кожа была окрашена в желто-коричневый цвет, как спелая оливка.

Так подошла она к нему с закинутой головой и пристально оглядела его.

Но ее взгляд смёл окружающий его мир. Он видел ее голову, наготу, которая мягко и просто излучалась на него. Ее взгляд задержался на нем с гордой и смиренной

ясностью, и это подняло его чувство так, что она ему показалась как бы воплощением равновесия между его силой и ее высотой; его кровь заструилась, напряженная до предела, которого он сам не мог более достичь; его мозг, ставший неземным, воззвал: «Королева!».

Он возжелал ее.

Он бессознательно выпустил руку Калекуа. Потом с криком поверг на землю гордость королевы.

Ее взгляд поник. Она побледнела.

Затопленный потоком своего Я, он простер к ней руки: «Люби меня».

Его голос породил молчание, в котором другие остолбенели, а Калекуа пала ниц. Когда он взял королеву на руки, он увидел лицо Калекуа, окаменелое и кротко глядевшее на него с грязной земли. Но в таком вихре кружилось в нем это переживание, что лицо Калекуа проплыло в его сознании, как быстрая луна.

Он высоко поднял королеву, поцеловал ее и вступил с нею в воду, дошедшую ему до бедер. Потом стало мельче. Он свернул в боковой ход, в соседнюю пещеру, которая была полна маленькими сосудами, оружием и фигурами из яде. Они ели вместе зеленую смолу, которая буйно разгорячила их тела, и он поцеловал ее; она лишилась чувств.

Когда наутро его пробужденный взгляд засиял в синеве небосклона, образ Калекуа обрушился со всех стен на его лицо и внес смятение в его чувство.

Он начал подниматься, пока не встал на колени. Он

глядел на королеву. Она была прекрасна. Ее губы были плотно сжаты и трепетали. Он сравнивал ее члены. Он касался ее рыжих волос, узкого разреза ее глаз, он гладил ее молодые груди. Он сравнивал обеих женщин друг с другом. Но Калекуа одержала верх в его глазах.

Он встал, дошел до отверстия, где гора низвергалась вниз, взмахнул руками, взглянул еще раз на королеву и пошел. Вода встретила его прохладой. На другом берегу он встряхнулся как собака, капли брызнули на стены. Он знал, что пережил великий подъем, но что должен выбросить его из длительного воспоминания. Это немного, вычеркнуть из жизни одну ночь. Он отодвинул ее вглубь.

В проходе в нишах стояли большие фигуры из дерева и камня. У них были вспученные животы и зеленые глаза.

У входа лежала скорчившись Калекуа. Она спала. Роса перепутала ее рыжие волосы, смочив и сваляв их в комок.

Он сдержал себя. Он не кинулся на нее. Он не смел заговорить с ней. Он долго смотрел на нее и прошел мимо.

Через пять шагов его настиг ее голос, она встряхнулась, встала и подошла. Он слегка наклонил голову. Она же взяла его за руку, как обычно. Они пошли вместе так же, как пришли, вниз по ущельям. Они прошли сквозь дымки остроконечных вулканов. Они спали ночь в дупле платана. В полдень они достигли моря.

В первую ночь он думал, что Калекуа его убьет. Но она выражала благоговение и любовь. Он размышлял о том, почему она притворяется дружелюбной. Потом он

стал ее допрашивать. Он сказал, что она нечестна и таит под маской свое чувство. Она заплакала в ответ и поблела от горя. Тогда он грубо ударил в самую сердцевину ее чувства.

— Разве я не опозорил тебя? Я оставил тебя и прижимал другое тело к своей груди?

Тогда она улыбнулась ему, не понимая, неуверенно взглянула на море, на котором поднимался прибой. Вечером она начала тихо плакать, и когда он стал приглаживать ее волосы, спросила, можно ли ей остаться. Тогда Жан Франсуа отбросил свое недоверие перед такой любовью, источника которой он не понимал, и покрыл ее ласками.

Когда она позднее отправилась к королеве, он остался один сидеть на своем утесе. Целыми долгими часами мысленно творил он в воздухе ее образ, так что вечером, на третий день, полубезумный от любви и горячего воздуха, он, шатаясь, добрался до хижины, вокруг которой реяла Калекуа в бесчисленных обликах. Каждая линия сливалась с другими, и становилась ее ногой, ее рукой, ее грудью, ее движением. Глаза его покраснели. Он заснул в лихорадке. Так он ожидал ее.

Она вернулась ночью и не вошла. Когда он проснулся в тревоге и, ища прохлады, вышел вон, он увидел ее, лежащую без чувств перед дверью. Свет звезд заливал ее, и она застыла. Он на руках внес ее в дом. Сердце билось. Но оно не билось согласно с его сердцем, оно билось не в лад с ним, без смысла и цели.

Он вдыхал ей в уста свое дыхание. Она застонала. Он влез на постель и лег на Калекуа, чтобы согреть ее. Взгляд ее упал на него. Он был лишен выражения. Свои перья она вынула из волос.

— Калекуа.

Зрачок устремился вверх.

На его поверхности появилось слабое выражение. То был страх.

— Королева...

— Что?—его голос резко возвысился.

Но она ответила только пустым жестом, на который нельзя было задать вопросов. Калекуа пришла назад одна, она не нашла королевы. Ужас ворвался в ее мозг. Королева исчезла.

Калекуа больше не прокрадывалась к его ложу и не наполняла воздуха благоуханием своих ласк. Волны ее возбужденных грудей больше не ударили в его грудь. Ее глаза избегали моря. Ни один взгляд не витал по горизонту. Это больше никогда не отбрасывало назад ее голоса из-за утеса.

Жан Франсуа утешал ее ласками и словами. Но ее кожа не трепетала. Слова отскакивали от нее. Тогда он приказал ей быть веселой, но она сказала:—«Королева» и потупила глаза в землю.

Она беспечно ходила по местности, боялась чего-то далекого и оставляла волосы спутанными. Однажды она целое утро пробегала взад и вперед по берегу, не издавая ни звука. Она уклонялась от набегających волн и сворачи-

вала в отливающие, в ужасном зигзагообразном беге. Иной раз, окаменев на мгновение, она останавливалась, опустив руки. Жан Франсуа глядел на нее часами, пока все это не поразило его и он не сбегал вниз и не унес ее назад. В это утро он понял, что она носила в себе чуждое чувство, которое росло дико, отделенное от его души. Ибо она думала, что она отняла его от королевы и что ту это страшно разгневало, и любовь ее испуганно отошла от его любви, властно нависшей над ней. Он же думал, что она оскорблена,* ибо он, отвратясь от истинного смысла своей любви, наслаждался королевой.

Он пытался изгнать это из ее души и наполнить ее сверканьем. Он возил ее в челноке далеко в море, до тех пор, пока загоревшийся вечер не зажигал огненно-красным бухту, когда они оба уже были поглощены тьмой. Он лсвил в лесу маленьких кабанов, чтобы звериный визг развеселил ее. Три недели мастерил он гарпун, которым с лодки изловил акулу, распорол ей живот и сделал из зубов цепочку, чтобы гордость, вызванная этим, освободила ее душу, замкнутую в печали. Однажды вечером, когда он увидел в ее глазах далекий смех, он нагнал ей про брата, которого у него не было, будто бы плавающего на кораблях, подобных брюхоперым рыбам.

Когда однажды утром он поздно пришел с бухты наверх, вокруг нее, сидящей молчаливо и не обращающей внимания, бродил китаец. Он убил желтую скотину, запятнавшую своим прикосновением ее ногу, соскоблил по обычаю племени мясо с костей и подарил их ей, разняв и

выбелив их на солнце, в травленном ящике с желтой материей.

Но она, в знак траура, выкрасила себе губы черным ягодным соком и две ночи пропадала, молча рыская по лесу.

Однако, мир был все-таки так велик и могуч в нем, что, привязываясь крепче к ней, он вслед за достижимым обещал невозможное: жирафов, тигров и луну.

Но ее глаза оставались темными. Ее душа чтит его, испуганная и далекая. Но чем глубже потружалась она в свой страх, тем неистовее он желанием своим охватывал ее отчужденность.

Когда однажды она вновь ушла, он больше не населял ее образом комнаты. Теперь этого было недостаточно. Его руки нарисовали ее черты на стене. Его ладони в два дня выдавили в глине ее голову, пока она, наконец, не вернулась назад из лесу с помертвевшим взглядом.

Чтобы унижить себя, но возвысить ее страсть, он совершил непомерное, — ввел ее в свой дом и сказал:

— Я не Роно. Тронь мускулы, державшие тебя много ночей. Пощупай спину. Я не более, чем человек. Каждый мог бы меня убить. Твоя любовь значительнее моей. Я так ничтожен, что никому не нужен, даже кабану в пищу.

Но она указала на место, где чужие корабли разбили китоловов южного моря, напомнила ему это и засмеялась и не поверила.

Тогда он с другой стороны сделал нападение на глухоту ее души, вставшую между их любовью, ухватился за

образ королевы, унижил свое торжество и наслаждение и сказал:

— Что она такое. Это ничтожество. Я держал ее в руках, как яйцо. Она отплатила немногим. Ее тело хорошо, хотя твоя кожа и светлее. Но ее чувства—чувства улитки.

Однако, ее душа, привязанная к близкому и простому, не проникала в отдаленность и высоту его речей и держалась за королеву. Его рычаг сломался об одно слово.

Ибо мысль о королеве и о могуществе, ее окружавшем, унаследованная извилинами ее мозга, была более цепкой и крепкой у нее в крови, чем громовой звук его имени для ее земного чувства и даже чем укоренившаяся в его теле мужская любовь, которая изживает только в объятиях и объятиях, расколотых промежутками.

Она поднялась и зорко посмотрела на него. Во взгляде было заметно мало любви, но было глухое ожидание, которое стянуло ему горло, ибо он больше не знал способа, каким образом отнять у нее страх перед местью королевы.

Он попробовал еще одно. Целыми днями искал он королеву, выкрикивал ее имя в долине. Но не нашел ее.

Калекуа сурово посмотрела на него, когда он вернулся, и ночью скрылась из дому. Он же сидел под платаном и ожидал утра, между тем как любовь его становилась все более смертельно глубокой.

Он часто озирался и замирал на секунду. Ибо то, что прежде влекло его, берег, волны, потоки, холм, что уравновешивало его жизнь и бытие, и глубже проникало в

него, и двигало его душу, чем всякое прежнее существование—все это с'ежилось перед чувством к Калекуа, которое превосходило все и уничтожало все подле себя.

Его любовь ширилась так, что он не мог сдержать ее в сосуде своего существа, и она переливаясь облагораживала Калекуа, возвеличивая ее походку, и возносила ее бытие в непостижимое. Его об'ятия стали яростнее. Они не довольствовались более вызыванием в ней конечных проявлений человеческого, которое она посылала ему навстречу в чудесном ритме, и отлетающим от ее тела блаженством равночувствуемого бытия; его об'ятия, напротив, достигли высоты, когда он не сознавал более ее земного бытия, но знал и ощущал лишь ее, оставляя это позади себя и отдаваясь во власть упоения и чувств, выходящих за пределы познаваемого.

Ее взгляд содрогался в его об'ятиях, которые ужасающе поднимались над ее душой, напряженной лишь в заботе и самопротиворечии. Он же целовал ее ноги, ловил ее дыхание и пугался, когда пульс ее скакал.

Исполненный неудержимого чувства, он окружил содержанием ее незначительное существование. Он следовал за ней в даль, если она покидала дом. Он садился рядом с нею, когда она боязливо поднимала глаза к вершинам гор. Ночью он склонялся над ее кроватью и видел скользящий над нею далекий свет луны.

Он отыскал большую раковину и долго держал ее над ее лицом, ибо переменчивая игра красок перламутра, казалось, слагала черты ее лица в улыбку.

Каждый день Калекуа ходила по долинам, по берегу и под деревьями. Она их не видела. Ее взоры были обращены внутрь, и она прислушивалась к тому огромному, что незримо звучало вокруг нее.

Он же был так полон любовью, что остров (который прежде воодушевлял его), запах морей, роскошь небосклона, буря и качание пальм, казалось, струились из его бытия.

Так сильно разлилась его любовь над страной, тоска по которой задолго перед тем жила в нем, что если бы он захотел, остров начал бы в безмолвии ветра возвращаться вокруг самого себя.

Но чувство Калекуа он не мог этим изменить.

Для нее все, воздух и земля, слились в образ королевы, жадными устами требовавшей мести. И возлюбленного ее образ этот увлекал в ту же пропасть. Угрожаемая неотвратимой судьбой она обрела покорность, которая делала бледным ее лицо и заставляла его светиться в ожидании ужасного, как морские водоросли.

Однажды ночью загудела гора позади их дома, трещина прорезала стену. Утес треснул пополам и сорвался в море. Другая половина, покачиваясь, поддерживала их хижину. Гром рванулся к небесам.

Калекуа проснулась и поднялась с криком, думая, что ее зовет тысячью голосов королева. Она бросилась к двери.

Но Жан Франсуа схватил ее поперек тела и удержал ее. Она оглянулась и посмотрела на него, как на нечистое животное. Ее рот стал гневным. Она закричала:

— Пусти меня,—и так как он крепче сжимал трепещущее тело:

— Королева... Королева.—Потом она подняла руку и ударила его под подбородок.

Но она только увеличила его любовь, и он, полный страсти, привязал ее к кровати. Почва успокоилась, и под утро успокоилась Калекуа, когда он склонился над ней, дрожащей, и сказал свое имя.

— Роно,—сказал он.

Когда она спала, он развязал веревки и вышел. Белый, как известь, конус горы носил глубокую рану. Кратер слегка дымился. Он был расположен на той же высоте, что и дом, и рифом соединялся с горным хребтом. Море было зеленым там, где в него вверглась стремительная лава. Бесчисленные белые рыбы животы сверкали на поверхности. Он сел перед хижиной.

Но к полудню страх стал в нем неодолим и бросил его на землю. Он пошел по узкому хребту к вулкану.

Там на краю его кинуло на колени. Его чувство, бесконечно источаясь, безбрежно поднялось и столкнулось с богом. Море далеко окрасилось в желтое и серебристое, став неподвижной, лишенной блеска поверхностью, на которой стояли два словно замёрзшие челнока. Он вознес весь молитвенный пыл к богу и требовал от него, чтобы там, высоко над маленькой бухтой вышла Калекуа и, свободная от страха и вновь преображенная для любви, принесла ему улыбку под взорами.

Но бог был глух.

День проходил. Калекуа спала до сумерок. Потом она проснулась и молча продолжала сидеть.

Ночью земля начала колебаться. Луна светила. Тогда она встала.

Ее лицо напоминало первые дни, когда трогу еще восхищал душу Жана Франсуа, которая теперь вся была одной любовью. Она пригладила волосы, которые жгли ее спину. Потом она взяла четыре белых пера и воткнула их в волосы. Но прежде чем уйти, она вытащила из полового бревна у входа цепочку из зубов акулы и поцеловала ее.

Было почти светло. Он видел, как ее роскошное тело, упруго и нежно подымавшееся к грудям, опоясывалось острыми зубами. Видел колыхание ее ног, ее плечи, изгиб затылка, которые он любил больше, чем бога. Он видел все. Он не плакал. Но у него не было сил удержать ее.

Он принял в себя рок. Он не мог быть выше бога.

Внезапно загремела гора. Тогда она выскочила вон. Она бежала. Он еще раз услышал ее голос.—Она зовет,—кричала она.

Тут он не выдержал. Он побежал за ней. Но она была слишком далеко.

Тогда он прислонился к гудевшей хижине. Он видел Калекуа, бегущую вверх по полукругу хребта над берегом, становящуюся тоньше и бледнее лунной дали и окрыленную светом, словно несомую чем-то неземным, и исчезающую в кратере, подобно серебряной плясунье.

Он же, смертельно взволнованный, еще не имел сил последовать за ней. Еще поток чувства гнал над ним его

прошлую жизнь. Из цепи лиц перед ним вырвалось одно, о котором он больше никогда уже не думал и, хватаясь за последнее, он зарыдал над образом, сложившимся в его подсознании, чтобы он помог ему выпутаться.

— Ма... Ма...

Но и он оставался глух.

Тогда Жан Франсуа стал неистовствовать и кричать на бога. И он заклинал землю, чтобы она удержала его. Но так сильно был он привязан к Калекуа, как к самому высшему, что в то время, как он кричал, то, о чем он молил, тихо ускользало из его души. Успокаиваясь, он больше не видел ни звезды, ни дома, ни моря. Его взоры вглядывались внутрь. Бесконечная тишина затопила его чувство.

Он кинулся животом на землю и остался лежать, как бревно. Только когда голос бездны поднялся настойчивее к нему, он встал и последовал ему.

ГЕРЦОГИНЯ

Когда поэт Виллон в бедности, на самом дне жизни, был в городе Париже, он увидел герцогиню Вентадрон. Она шла по своему саду, и ее образ так захватил его, что он отослал прочь сопровождавшую его девку. Он шагал все дальше вдоль золоченой решетки, они шли друг другу навстречу. Герцогиня свернула в сторону раньше, чем Виллон поравнялся с нею, но ему все же удалось увидеть ее лицо. Сияние ее лица овладело всей его жизнью, чтобы уж никогда больше не покидать его.

Его сердце глубоко склонилось перед нею.

Нежность окружала все его последующие дни и покрывала его распутство и ночи в кабаках. Однажды вечером он соединил лунный свет и страсть со своей душою и переложил их в стихи, которые послал герцогине. Он приложил к стихам письмо и просил, чтобы она повернула голову, когда при въезде во дворец она поравняется с четвертым рядом деревьев. Это должно было означать, что стихи ей понравились.

Три дня после этого она поворачивала прикрытое веером лицо к четвертому ряду деревьев. Так он увидел это лицо еще раз.

Его сердце погрузилось в решимость покорно претерпеть для нее все и собрать ради нее все наивысшее.

Только несколько дней спустя, ибо он был беден, ему пришла в голову мысль подарить ей нечто. Подарок для нее Виллон должен был украсть. Но ни одна звезда не казалась ему слишком высокой.

Так как у него не было денег на некоторые предварительные расходы, то он перепродал одной благочестивой женщине, стоявшей возле собора Богоматери, две украденные на клиросе позолоченные свечи и полученную сумму снес в свою таверну. Друзья, перепуганные его смехом, пили его вино и, с жадными профилями, с пылающими глазами, слушали, как нужно выполнить его план.

Они вышли с факелами. Виллон шел впереди. Барраль от радости воткнул свой нож в какую-то дверь. Переулки набухли темнотой. В улице Святых Отцов перед публичным домом стоял монах, дубасивший кулаками в ворота. Затянув оскорбительную для него песню, они прошли ровным шагом по другой стороне, и их пение металлически звенело вдоль длинного переулка.

Но монах перешел мостовую, упер руки в бока и принялся браниться нормандскими словами. Он был большой и широкий, и глаза у него горели красным. Виллон с друзьями не обращали на него внимания и, распевая, шли дальше. Один из шедших сзади ткнул его в грудь факелом, так, что он свалился в лужу, весь осыпанный искрами. Монах догнал, кинулся на обидчика, но товарищи

освободили его и отшвырнули ярко пылавшего монаха обратно во тьму.

Проститутки высунулись из окон и спустили фонари в переулок, а Виллон снова затянул песню и запел дальше. Когда другие начали сплетать свои голоса с его голосом, монах в последний раз вырвался из ворот и, узнав Виллона, обозвал его пьяницей и никуда негодным поэтом.

Виллон поднял ногу, чтобы пнуть его, но тотчас же с гримасой опустил ногу и продолжал петь. А монах вонзил стрелу в его позор, крикнув: «Сын потаскухи!» Тогда Виллон побледнел, покачнулся и вонзил ему нож в тело.

В то время, как песня вновь расширилась и, скользя, глосхла в переулках, монах лежал на земле, кричал и, поднимая руки и ноги в воздух, тихо лил свою кровь в водосточную канаву. Женщины в первом этаже дома далеко высунулись наружу и посылали ему вниз приглашения.

Песня достигла Сены. Виллон вошел со своими людьми в лодку и, багрово озаренный, поплыл вниз по реке.

Виллон сказал: «На мне нет крови» и, довольный, вымыл руки, ибо ему казалось, что убить жирного монаха — это даже меньше, чем убить ворону. Внезапно все погасили факелы, сунув их в воду по обеим сторонам лодки. Факелы шипели, и белые пузыри вырывались на поверхность; лодка тихо пристала к берегу королевского сада. Все перелезли через забор и рассыпались в разные стороны. Скоро они уже залегли, насторожившись, позади статуи и боскетов.

Виллон один прокрался дальше. Вино бушевало у него в крови, но он верно взял направление. Барраль следовал за ним. Подле них закричал индейский петух. Серdito воткнул ему Виллон палец большого пальца в горло; он даже не посмотрел на это существо, которое попусту встревожило его. «Смерть неумышленно исходит от меня»,—подумал Виллон, взламывая дверь в зверинец.

Из белой соломы глядели на него в темноте безмерные, тихие, блестящие глаза. Под быстро зажженным светом расстилалась перед ним нежная шерсть антилопы. Левою рукой Виллон отвязывал бубенцы на рогах антилопы, а правой в это время гладил ее по спине. Потом он заботливо взял животное на руки и понес его в лодку.

Они поехали назад и пристали к другому берегу Сены. Позади Лувра они слышали бряцание копий караула. Они сейчас же затаили песню,—Виллон с антилопой шел посредине. По этому жуткому сигналу шаги караула пропали вдали. Еще некоторое время шли люди Виллона мертвым шагом.

Потом они замолкли. Виллон пошел один вперед ко дворцу, отворил ворота и вошел в сад. Он опустился на траву, дополз до стены, обогнул флигель и привязал свой подарок—антилопу—длинной цепью к розовому кусту позади дворца: чтобы утром, при пробуждении, взгляд герцогини на одну секунду окрасился нежнее, и маленькое счастье разлилось по всему парку.

Потом он возвратился, они двинулись обратно и остановились в таверне, где играли в кости.

Поутру пришел отряд, окружил эту нору и переловил всех выходящих одного за другим.

Когда Виллон увидел себя пойманным, он струсил и упал на колени. Его били древками пик по голове, потом отнесли с распухшим лицом в одну из трех бапен. Он скатился вниз по ступеням, стены были влажны и покрыты плесенью, было темно.

В эти дни, которые он пролежал там,—в эти дни, выросшие в недели,—его глаза приобрели власть над тьмою. Он различал смену дня и ночи и движение мельчайших насекомых на стене. Он видел круги и потоки синего света, тишина приобрела вес и журчала в его ушах, и он погрузился в состояние среднее между сном и бодрствованием. У него выросла борода, между тем как его тело разрушалось. Какая-то сыпь грибами пошла у него на коленях. Он ни о чем не думал. Существование вне мира, которое его мягко влекло все дальше, совершенно заполняло его.

И тут распахнулась дверь, вошли два человека с свечниками. Позади них стоял господин в серой одежде. Он с любопытством наклонился к Виллону. Затем он приказал поставить около себя фонарь, сделал быстрое движение головой вверх и в сторону—и его люди бесшумно погрузились обратно в темноту двери.

— Некто интересуется вами.

— Вы?

— Нет, не я. Некто.

Тогда Виллон поднял взгляд—пристальнее, еще при-

стальнее—и узнал герцога Вентадрон, поклонился низко и стал робким и дрожащим.

— Вас, наверное, приговорят,—сказал приветливо герцог.—Хотя она меня и забавляет—эта история с духовной особой,—но опять и здесь закон грозит вам. Из разных соображений я желал бы помочь вам. Знаете ли вы аббата из Сан-Ромакль? Да?

Виллон, который знал славу аббата, кивнул и сложил в улыбку свое слабое, дрожащее лицо.

— Я хотел бы ему основательно насолить,—понимаете. У него дом с оливковым садом, на границе моих владений. Там, как раз напротив, есть старое здание со многими комнатами. Вы знаете женский квартал в Париже?

Виллон кивнул.

— Вас наверное приговорят. Я хотел бы в этом здании учредить женский монастырь, с пением и вином, куда каждому мужчине открыт свободный доступ. Хотите?

Виллону план очень понравился, глаза его засверкали, он стал прикидывать, кого он использует для этого и какие таверны опустошит. Потом его устрасила мысль, что тот, кто это предлагает,—муж герцогини. Виллон задал себе вопрос, не ловушка ли это, но так как он знал герцога, как человека благородного, храброго и великого обольстителя женщин, он топнул ногой от радости и сказал:

— Я могу и хочу!

И в то же мгновение лицо его потемнело и осунулось

в тусклом мерцании желтого света фонаря, ибо та дурная вещь, которую он охотно бы сделал, была слишком близка его чувствам к герцогине, и, расплавленный стыдом, он отклонил предложение.

Герцог изумился.

Потом, играя, завертел ключом и сказал: «Тогда, молодец, ты будешь повешен».

Виллон кинулся ниц и по собачьи вымаливал себе жизнь.

За это он обещал герцогу вещи, которых тот и не подозревал, хотя герцог знал Париж, как немногие, но Виллон знал больше.

— ...или—тебя подтянут,—пожал плечами герцог.

По этой его холодности Виллон почувствовал весь—до самых зубных нервов,—что значит не дышать более. Пораженный ужасом смерти, пал он к ногам герцога, повернулся и поцеловал их.

Он хотел себя побороть, чтобы исполнить план, пленявший его разум, но все же он шел напрасно против чувства, которое запрещало ему это, и даже самый ужас смерти был ничто против этого чувства.

Ему не удалось.

Ужас овладел им, он позеленел, но не сказал снова: да.

Герцог оттолкнул его от себя ногой и ушел.

Виллон пал на колени и горячо молился образу, который вставал в его душе и сквозь синие огненные круги склонялся во тьму. Слезы хлынули у него из глаз.

Несмотря на это, ему в то же самое время казалось, что это безумие—отказаться от этого чудного монастыря для девок и отдать себя на растерзание.

Больше темный воздух уж не журчал у него в ушах. Между благоговением и кощунством проходили его дни. И вот однажды получено было известие, что он помилован, но должен быть изгнан.

Два стражника шли рядом с ним. Без остановки дошли они до ворот. Они вручили ему бумагу. Он был выслан за пятьдесят лье от столицы. Они выругались, засмеялись и пустили его бежать.

И он бежал, как заяц, ужасной дугой, все вперед по равнине, пока сердце не забилося у него где-то здесь, в горле. Тогда он остановился под деревом. Это была молодая береза, закачавшаяся под его тяжестью.

Он, весь дрожа, взглянул вверх по стройному стволу, увидел темнозеленую вершину, всепобеждающее небо, погладил дерево и, переполненный, пал на землю.

В полдень он пошел дальше. Солнце, очень звонкое, лежало вдоль длинной дороги. Рожь стояла в полях и шелестела. Перед неизведанной прелестью деревни его еще больше охватило бешенство, что для него заперт город. Так быстро помчалось в груди его сердце. Он оглядел себя, когда стоял здесь вот так, истерзанный—и ручей отразил ему остановившиеся глаза, всклокоченную бороду. Он двинулся, шатаясь, по дороге. Какой-то бродяга расхохотался над ним, так, что загудело. Из крестьянского двора выскочила собака, бешено залаявшая в безжизненную тишь.

Он поднял камень, но у него больше не было силы.

Вечером он свалился от истощения в канаву и заснул. Удва дня бежал он бессмысленно вперед. Когда в полдень на третий день он подошел к винограднику, в котором поливал и копал старик с мирным лицом, он завистливо остановился и попросил работы. Работу он получил. В несколько недель его лицо стало загорелым и безбородым, глаза посвежели. Узкое платье обтягивало ставшее упругим тело.

Однажды ночью он прокрался назад к границам Паризжа. Но прежде, чем он вступил в запрещенную область, какой-то клирик узнал его и поднял крик. Виллон повернул обратно. В одной из гостиниц на деревенской улице он остановился и писал во все концы. Он писал Барралю, другим; женщинам, хозяевам, он молил и требовал, чтобы помогли ему вернуться в город. Потом он стал ждать.

Но в ответ пришли только две девки, которых он раньше любил. Барраль бежал, другие сидели. Он задрожал от злобы и побил девок.

Однако, они укротили его поцелуями. Тяжело удрученный и все же сладко встретивший их верность, он писал, среди их объятий и шуток, письмо к герцогине, он писал: как сильно рвется его дух в высь и как быстро падает вновь, ибо кровь в нем мчится, как молния. И все же его сердце исполнено усердия.

Когда на другой день девки отправились обратно и унесли с собою письмо, он глядел им вслед. У них были красивые ноги, он увидел это снова.

Потом он сел на траву и заплакал, ибо велик был мир, лежавший между ним и святыней, а мост письма—узок.

Ночью он исчез, не заплатив по счету.

На опушке он вышел еще раз из тени, простер руки по направлению к городу.

И тут он ринулся в новую страну,—там, впереди,—скрепший внутренно и поддерживаемый решением, что жизнь его вростает в глубокую страсть и уносится в мерно-качающихся струях.

Он никогда не покидал города, он не знал путешествий. Песня никогда не приходила ему на уста. Его походка была исполнена ритмом его чувства. Вспугнутый, он окидывал взглядом местность и впитывал ее в себя.

Однажды он думал о прошлом и увидел как бы где-то далеко в зеркале: вот он идет сквозь решетку из деревьев, пестро одетый, нежно опустив голову.

Так достигло в тишине до него то время.

Вечером в воскресенье он вошел в город. На площади сияло много огней. Меж деревьев был натянут канат, и на канате плясали. По окончании представления он смешался с фиглярами. Они начали игру в кости. Они пели и вели себя вольно—и Виллону показалась счастливой ленивая жизнь этих людей. Самодовольное покачивание женских бедер, широкая уверенность мужчин и смиренная мудрость тех и других дали ему отраду. Он присоединился к ним.

Они были из Лиможа, и у женщин был пылкий нрав, возбуждавший его северность. Его познания в ремесле

оказались больше, чем у товарищей. Его позы были красивей, его прыжки изящнее; успех труппы все возрастал. В Анжере граждане пригласили Виллона и его труппу.

Когда они покидали богатый город после ряда триумфов, один городской советник последовал за ними на лошади и попросил Виллона обратно в ратушу. Бургомистр указал на серого монаха по имени Пра и просил Виллона, чтобы он помог монаху устроить большую мистерию. Виллон коротко оглядел зал.

И тут он покинул своих распутных товарищей.

На городском празднике во время карнавала он говорил пролог с полумаской на лице и горел таким огнем, что публика бушевала.

С наступлением утра он тихо принялся за дело.

Тупому красноречию священника подчинил он всю полноту своего таланта. В одну неделю доказал ему Виллон заблуждения мифологии, переложил священное событие в стихи, дети пели их в переулках. Монах покинул город.

Тогда Виллон один завладел всем. С раннего утра начал он дрессировать массы. Он учил их простирали руки к небу, царапать себе лицо и, корчась на животах, кричать от ужаса. Стая плотников поставила мощно выгнутый дугой амфитеатр, подле церкви на кладбище. Этажи сены ряд за рядом воздвигались один подле другого. Он учил прекрасному восторгу, крику страсти и тишине преданности.

Он месил тесто толпы так, что шеренги, разверты-

ваясь, шевелились, как будто он дергал их за нитку. Костюмам он придал величие, гримму правдоподобие. Текст он переработал, сгладил, придал ему огненную искристость. Он прибавил к нему насмешливое стихотворение против серых монахов.

День для него возрос от восхода солнца до сердца ночи. Благотворность работы захватила его, пронзала его. Маленький земной шар мистерии, которая одна покоилась в его руках, поднял его до восторга перед самим собой.

Когда приготовления кончились, крик пронесся по городу. Вехал король. Ковры ниспадали из окон. Цветы покрывали ступени. Цветы лежали на дороге. Поперек улиц, высоко, висели кадильницы.

На утро началось представление первого дня. Сквозь полотно, что покрывал деревянный театр, всех винау оросили распыленные благовонные воды. Потом Виллон, опоясанный белым, проехал на осле через сцену. Рога затрубили.

Король вошел в ложу. В безмолвии продолжалось представление до вечера. Только в сумерках впервые поднялся шум. Карманный вор отрезал одному дворянину рукав и спрятал его. Виллон приказал привязать вора к столбу и подвергнуть его позору, ибо он хотел быть строгим в своих владениях.

Но ночью, переодетый, он отвязал наказанного.

Второй день начался зноом. Уже к полудню лица стали сонными. Дети кричали на подоконниках. Народ награвливал на арену собак.

Под вечер свершилась смерть Иуды, которого играл Виллон. В то время, как семь чертей гремели над головой бараньими черепами и коровьими колокольчиками, поднялось темное солнце. Встал сатана, лицо у него было золотисто-коричневое и на нем был венец из красного атласа и восточных жемчугов. Иуда, плача, упал с помоста. И так как рот у него был слишком узкий, слишком предательский, чтобы этим путем могла изойти душа, то у него лопнул живот, из которого она и вышла.

Король поднялся, выражая одобрение.

Возвращаясь назад за кулисы, Виллон почувствовал: кто-то всунул записку ему в руку. Он оглянулся. Будто ничего не произошло, стояла одна из Сибилл, танец которой утром запечатлелся в сознании Виллона. Это была жалкая девка, но когда она говорила, рот у нее пылал словами.

В городских воротах люди одного епископа схватили Виллона, так как он написал стихотворение, где осмеивал монахов, но всадник короля освободил его.

Тогда он взглянул на записку. Там была картина. святая Сусанна, опустившая ногу в воду, смеющаяся глазами. Она понравилась Виллону, и он усмехнулся.

В последний полдень, Виллон, игравший Христа, явился на помост.

Он был наг, его повесили на крест, и боль выжала из его уст крик. Рядом, стеной, висели разбойники, с рожами, нарисованными вокруг пупка. Справа зиял ад. Слева же стояли мальчишки с красными повязками на

головах, и позади них ангелы с инструментами, все склонившиеся ниц.

Так велики были непреклонность и дерзания Виллона, что он повернул голову к преисподней и начал неслыханное: говорить вслухшим, диким голосом—туда, в преисподнюю.

Тогда, в бледном молчании зала, поднялась завеса одной из лож, подле королевской. Взгляд Виллона успел схватить одно: висок женщины.

Завеса опустилась.

Несказуемое наполнило его уста, когда он поднял лицо. Это была ее, ее голова.

Так Виллон узрел ее еще раз.

Он не мог объять этого блаженства, он замолк.

Но его голова покорно упала вниз, и его взгляд охватил кулисы рая. Апельсинные деревья попались ему на глаза. Среди роз и майорана в гранатах бил вверх фонтан.

Его сердце поникло.

Завеса покачнулась, но уже не поднялась больше.

Голос Виллона зазвучал—сначала высокий и слабый, а закончил он невероятным рычанием. Голова вытянулась вверх, все тело от ступней до затылка напряглось, как силос для птиц. Слова рвались из его восторженных уст, полных преданности, и, как из широкой трубы, вырастали в некий медный гром.

Потом он склонил голову.

Занавес отделил от него мир. Стало сумрачно.

Когда он переоделся и шел к помосту, городской советник приказал позвать его к королю.

У забора, кто-то коснулся его бедра. Он мимоходом взглянул и узнал Сибиллу.

— О!—сказала она, открыла рот, закусила верхнюю губу.

Виллон подумал о картине и посмотрел на нее. Потом положил ей руки на плечи,—они сквозили, белые и полные ожидания, сквозь платок.

Она отошла в сторону, где уже начинались кладбищенские кресты, вокруг нее было совсем темно. Ее бедро коснулось Виллона. Он поцеловал ее и укусил ей рот.

Они легли позади широкого надгробного камня.

— Мне страшно.

Виллон засмеялся.

Вплотную подле них бежали последние острые грани сета. Толпа шумно танцевала на площади. На скамьях амфитеатра начинался пир. Искры брызгали на темную стену горизонта. Красный пар повис над колокольной.

— Хочешь денег? Я получу двадцать дукатов.

— Нет.

Он продвинул язык между ее зубами и губой.

— Возьми с собой меня! Женись на мне! Дай мне ребенка!

— Положи в постель питаны францисканца—у тебя будет ребенок сам собою.

Виллон смеялся.

Она направила ему. Их губы распухли от крови.

— Я подарю тебе пять дукатов.
— Мне страшно!
— Ты купишь себе браслет и шелковые рукава.
— Мне страшно.
— Плюнь на мертвых. Он стиснул ее грудь.
— Как ты был хорош, когда ты на осле, которого называл Рютбеф—когда ты в белом поясе в'ехал на осле...

Он поцеловал ее с закрытыми глазами.

Но тут сквозь щель темноты явилось лицо. Виллон прижался губами еще сильнее, чтобы раздавить это лицо. Но благословенная голова становилась все больше, герцогиня ласково склонялась над ним. Лицо ее покрывало его душу, в то время как он все более дикими поцелуями пытался уйти от него. Ее ласковая улыбка простиралась над садом, крестами и небом.

Тогда, отчаявшийся, побежденный, он пихнул девушку ногой, и с ее открытой груди взглянул ввысь, чтобы дотянуться до образа той.

Его сердце поникло, и, поднявшись, громко стелая, он побежал в ночь.

Он бросил дукаты и короля.

Его бегство длилось целые дни, которых он не считал.

С всклоченной бородой залез он однажды ночью в сарай. Когда он заснул, ему на глаза сквозь сетку сена пал свет потайного фонаря. Он пошарил кругом и обнял Барраля, которого он таким образом нашел.

— Где ты был?—сказал Барраль и засмеялся.

— Я бегал,—сказал Виллон.

Он прикрыл себя сверху соломой. Потом он еще раз разбудил Барраля.

— Барраль,—сказал он, и его лицо светилось злобой, скрежещущей насмешкой,—вот чего я хотел бы: наблеть на мир—целые реки. Старина, мы будем соблазнять женщин, поджигать их стойла и делать это с бешенством.

— Да, дружище,—сказал Барраль и вытащил у себя из бороды соломинку.

Их пищей были плоды и краденая птица. Рыская по округе, они вечерами иной раз так пугали крестьян в полях, что те с воём убегали прочь. Они колотили монахов сучковатыми палками и по своему распоряжались с женщинами, которым они расшнуровывали платья, так что они стояли, как статуи, по всем дорогам.

Однажды Виллон попал в ловушку. Выскочив внезапно со всех сторон, парни избили его. Он едва убежал из темного переуллка, на лбу—кровь из раны.

Ночью они подожгли всю деревню.

Темные отсветы порхали по лесу, а Виллон и Барраль стояли на холме.

— Это красивое зрелище,—сказал Виллон и обнял за плечи Барраля.

— Это представление,—сказал Барраль.

После нескольких недель такой жизни они достигли города Тулузы, где как раз в это время был большой крестный ход. Город был полон духовенством и разными пришлыми людьми, которые тратили на веселую жизнь

нажитое на родине. В самой знаменитой церкви Барраль украл меха и камни. Приглядевшись, он заметил, что в кружку опускают не мало крупных пожертвований. Это запечатлелось в нем. Он не забыл об этом. Вечером они поспешно составили план.

После того, как они пробрались сквозь двери, Барраль по-медвежьи пробил насквозь кружку для жертвований. Вместе с медью и небольшой кучкой серебра по полу рассыпалось много золота. Они спокойно поделили. Когда они вышли через потайную дверь за органом, слабый зов послышался им навстречу.

Виллон заметил: рука Барраля поднялась; в тот же момент и самого Виллона схватили сразу десятки рук и он, повернув голову, увидел, как аллебарда широко раскроила живот Барралю.

Потом короткий переход—и он был в мраке тюрьмы.

Когда длительная ночь заперла его со всех сторон, сознание его омрачилось. Он не различал дня и вечера. Никакое парение души не уносило его от мира и действительности. Раскаяние грызло его, и он прислонял голову к покрытой гнилью стене и говорил, а взор его в это время представлял ему блаженство свободной природы, цветущих деревьев и киноварной осени: «Зачем я разбойник, когда я мог бы быть поэтом?» Но мучительное страдание этих недель дало ему стихи о женщинах, полях и луне.

И в радости этой работы ширилось его сердце. Душа его, которая была полна и разрывала все окружающее, наслаждалась горизонтом, солнцем и морем.

А в промежутках его жалкое сознание кричало от страсти и муки. Он сожалел о своей судьбе. Он видел перед собой наказание—верную смерть. Поэтому он молился богу, чтоб он послал ему какое-нибудь средство спастись. Если бы еще раз ему предложили хотя бы даже то, от чего он отказался тогда—в первой тюрьме! Он поклялся, что теперь он согласился бы, теперь бы исполнил и притом унизил бы себя еще глубже. Ибо это он обещал богу, как лихву.

Но потом он долго плакал от стыда за эту свою слабость и не питал к себе ничего, кроме презрения.

Все же воля к благочестивой жизни так сильно сияла в его существе, что через некоторое время он еще настойчивее сталкивался с своих уст мольбу о помощи.

Но в эту ночь его обиталище наполнилось белым светом, и во сне пред ним вырастали светлые фигуры со светильниками в руках, и некий голос наполнил его тюрьму так, что он задрожал от волнения: «Ибо, бедный мой, ты должен позволить вывести себя на свет»... и, проснувшись, широко открыв глаза, он ощутил, как чья-то рука гладит его лоб, вот—исчезла. Он почувствовал: нечто быстро скользит к двери.

Тогда он вскочил и, трепеща от счастья, поднял голову.

Дверь открылась для освобождения, он ощутил—воздух течет.

Он кинулся на колени и воскликнул: «Пусти меня». Но фигура не повернулась лицом (Виллону и не нуж-

но это было, он и без того узнал ее); все же она сделала широкое движение рукой и прошла в дверь.

Поднявшись, он кинулся вслед:

— Зачем?—кричал он,—зачем ты преследуешь меня добротой,—зачем перегружаешь мою жизнь светом? Я беспомощен против этого, но я не хочу.

Дверь была закрыта.

Он стучал в нее кулаками, пена показалась у него на губах: «Пусти меня, проклятый, я проклиная тебя в моем унижении. Святое в твоих поступках приводит меня в отчаяние!..»

И он кидался навзничь, он боролся.

А тюрьма его была пуста, ничего не происходило. Злой, гневный сел он в углу.

Страх заполнял всю эту его ночь, всю ночь он не спал, окостенелый и проклинаящий: ведь его могли освободить даже и без того возмездия, о котором он молил бога.

На другое утро это свершилось. Он стал свободен.

— Я не хочу,—сказал он и не покинул скамьи, на которой сидел. Сторожа толкали друг друга в жирные бока и дивились.

— Дело шло насчет твоей головы,—сказал один и упер руки в зад.

Виллон метался, как рысь, вправо и влево.—Кто попадет в руки правосудия? Зачем несправедливость восстает против обычая? Я украл. Пускай меня колесуют. Это подло—отпустить меня без наказания.

Но они расхохотались и выкинули его на улицу, как животное.

Там из упрямства он лег на землю. Ночью собака лизала ему лицо. Он поцеловал ее в морду, обнял ее твердую шею обеими руками и зарыдал, спрятав лицо в шерсть.

После этого они вдвоем с собакой вышли из города в поле. Звезды не загромождали высланного туманом неба, в мерцании которого висели их огромные тени. Так как он полюбил животное, он назвал его: «Жуа-Нувель».—«Новая Радость».

Они долго жили в лесу бесхитростной жизнью. Считаясь, они пришли к охотничьему шалашу, в котором обитала простая женщина. Она предложила им кров, они привыкли к этому крову и остались здесь. Бесхитростная любовь радовала его.

Однажды, когда он охотился, зашевелились кусты, и сквозь раздвинувшиеся ветви к нему подехала женщина. У нее была кастильская с белыми ногами лошадь.

Она круто осадилла коня, Виллон поклонился.

— Ваше имя?—спросила она.

— Виллон.

— Виллон,—сказала она и сузила серые глаза в одну черту. Окинула его взглядом с головы до ног, погладила лошадь по шее и ускакала.

Ее звали Лоба. Она жила в замке в лесу, в двух часах от Марсея. Женщина в шалаше рассказала ему об этом, когда он бросал Жуа-Нувелю убитых в лесу дроздов.

Путру постучался слуга и сказал, чтобы он пошел в замок. Но Виллон ответил, что никто не смеет ничего от него требовать, побил слугу и выгнал его.

Через некоторое время он снова встретил графиню в лесу.

— Почему вы не приходите?—спросила она. Ее уздечка была из лимузинской кожи, и серебро сияло. Ее лицо было холодно и замкнуто.

— Что мне там делать,—сказал он спокойно.—Оставьте меня жить здесь, как мне и надлежит,—в умирении и жалком довольстве.—Она вскинула буйным движением руку с хлыстом вверх, проследила изогнутую линию широким взглядом и ускакала не прощаясь.

Через две недели она попросила его сочинить ей две строчки к картине. Он не противился. Только его огорчало, что это влекло его в высь. Но так как влечение было непреодолимо, он отдался ему.

Одежда его вновь преобразилась в придворную. Движения освободились от размашистости и приобрели размеренность. Его рот приоткрылся к округлому падению изящных гласных. Из окон дворца он видел море, как тонкий синий дым.

— Я не люблю животных,—сказала Лоба и указала на Жуа-Нувель. Это обозначало изгнание собаки, а когда тоска пригнала ее обратно—ее смерть. Виллон с гневом и слезами убил ее.

Супруг Лобы вернулся в замок только спустя некоторое время после того, как Виллон вступил в ряды его

свиты. От его широкого стана веяло самоудовольствием уравнищенностью. Увидя Виллона,—так как он его не любил и не ненавидел—он зевнул, чтобы выразить свое бесстрастное одобрение. На праздниках Виллон воспевал душу и облик Лобы. В безмолвии ночи прокрадывался он попрежнему к кухням и людским—ради костей, вина и пересудов.

Трусливо, как собака, отворачивал он взгляд от прошедшего. Он склонял в бок шею и хмурился на солнце, когда ему приходила мысль о том, что было. Сквозь занавешенный покой его воли ни один звук не прорывался во внутреннее сознание.

Он встретил Лобу путру в зале. Пути их скрестились, она прошла мимо, едва заметив его, и все же с улыбкой, от которой у него задрожали колени. Оставаясь вдали, она уже одной своей снисходительностью волновала недра его существа. Его так стремительно влекло к Лобе, что женщина в шалаше исчезла из его памяти. Ему хотелось пасть ниц перед Лобой, для того, чтоб она властно приняла его услуги, все равно какие.

Он назвал себя волком, для того, чтобы его имя было подобно ее имени. Он воспевал ее коршунов и ястребов. Ее венецианские стаканы украшал он вязью изречений. Он никогда не забывал положить ей на седло пуховую подушку.

Однажды на охоте он взял шкуру волка и закутался в нее. Свора с лаем кинулась по его следам. Он бежал так, как если бы дело шло о его жизни, и слышал наусь-

кивание Лобы. Он бежал наискосок через лес. На прогалине свора окружила его.

Чернопегая охотничья собака вцепилась ему в затылок.

В то время, как тела других собак закружились вокруг него, он вскочил, отогнал назад животных и стал, истекая кровью, перед Лобой.

Она ехала, как и в первый раз, на кастильском жеребце и прищурила глаза в узкую щель. Он склонился и подавил стоны. Она слегка усмехнулась и сказала:

— Спешите домой.

Воя от боли, весь в поту, достиг он замка. В дни лихорадки графиня часто приближалась к его постели, снимала повязки и лила кипарисное масло в раны. Он замахивался на слуганок, громко ступавших по полу, но тут переносил адскую боль со спокойным лицом, и однажды погладил ее по руке, а душа у него в этот момент оцепенела, так как он ждал, что она его ударит по лицу. Но она только взглянула на него.

Когда ему стало легче, его охватило безумное чувство радости, в котором он не мог дать себе отчета, не мог найти причины. Каждому человеку он говорил, что счастлив. Он разговаривал с коровами. Он один плясал в лесу и кричал: «Будь у тебя еще на костях мясо, Барраль, как бы ты смеялся над Виллоном»...

Тогда он отважился прокрасться в безлунную ночь наверх к графине. На лестнице силы оставили его, он струсил и повернул назад.

Другой раз он основательно вымылся, он долго купался, чтобы им внезапно не овладел страх: а вдруг на нем где-нибудь есть следы земли,—так боязнь за свое происхождение таилась в его крови. Тотчас же поднялся он наверх. Его сердце блаженно стремилось к ней. У него было мужество.

Вступив в галерею, он остановился. Что-то промелькнуло мимо него и, смеясь, остановилось. То была одна из африканских слуганок, с блестящей золотисто-коричневой кожей. Виллон видел, как она скользнула в светлой полосе двери. Он видел ее мягкие бедра и слегка свистнул. Она обернула голову и, совершенно переполненный ее образом, он последовал за ней.

Он долго не являлся на глаза Лобе, терзаясь угрызениями совести. Но она послала ему арабийский ковер, чтобы он написал для него изречение. Он сочинил большую тираду, и это дало ему новую храбрость. Его зеркало показывало ему теперь строгое лицо, прекрасной мужественности. Он намазал его мазью из ртути, бобов и конского молока, для того, чтобы виски приобрели более мягкий оттенок.

После этого он отважился.

Ее комната была незаперта. Подойдя ближе, он увидел: Лоба лежала,—с неба падало много света, поэтому он ясно видел ее. Он наклонился и поцеловал ее в губы.

Спросонья она сняла руку с груди, простерла к нему, и думая, что это ее муж, она поднялась и встала. Тогда она увидела перед собой Виллона. Сперва она ничего не сделала. Она только оглядела его.

Этот взгляд он носил потом, как пятно, глубоко в ненависти своей души. Этот взгляд поверг его на землю.

Потом, увидев, что Виллон пристально глядит, она закричала. Захлопали двери. Мимо прибежавших со свечами служанок Виллон торопливо выбежал из взволнованного и осветившегося замка.

Повсюду, на своем вымытом теле он чувствовал грязь.

Он пробормотал: «Шайка... зачем ты, Виллон, сын девки, предался благородным?»

Ночь была прекрасна. Ветер мягко трепетал в деревьях.

Скитаясь по лесу, он поднял между стволов руки и воскликнул:

— О, Жуа-Нувель, где ты теперь?

Дрожа от гнева и горячо болея о смерти собаки, тяжело угнетавшей теперь его душу, спешил он в Марсель. Он прожил, скрываясь, два дня в гавани, до тех пор, пока не отошло в Геную гребное судно. Прислонясь к мачте, озирая удивительное море и полный боязни заболеть морской болезнью, он покинул родной берег.

Равнодушно вылез он на чужой земле. Подвижность воли впитала в себя его волнение. Он пересек город и покинул его. Странствуя взад и вперед по морскому побережью, он прошел через всю Италию и мало обращал внимания на месяцы и годы.

Он спал на скверной подстилке и в кроватях, его преследовали, а почет окружал его, как оскорбление. Бездельничая, слонялся он в суматохе гаваней и по целым

дням отдавался морю, на светлом берегу, впивая солнце обнаженным телом и замыкая море в расширившуюся душу.

Однажды зимой он составил квартет, состоящий из зееонка, тамбурина, маленького органа и флейты. Огнем многих дворов и базаров, криками многих ночей окружены были эти четыре необычайных лица. Потом он порвал с этим, шатался, пьяный и опустившийся, с пустыми карманами, выпрашивал испорченную рыбу и стаскивал с пальцев у женщин перстни. Но какое-то утро перевернуло его—и вот он уже небрежно сидит на коне, с беретом на голове и с арфой на седле, украшенной изображением львицы.

Когда, возвращаясь из Сиракуз, он проезжал через Геную, из окна выглянула полная женщина, и он остановился.

— Твоя высокая грудь пленяет меня,—сказал он.

Она оглядела его и выругалась: «Провансалец!» Но он рассмеялся и указал на ее грудь.

Он взял несколько фальшивых трелей и затянул: «Твоя высокая грудь»... Женщина покраснела от злости и закричала: «Я тебя понимаю меньше, чем берберийца, немца или сардинца». Но тем не менее, она взяла его за руку и ввела в дом. Там, в дверях, он охватил рукой ее бедра, и так как она поняла это—они больше не разлучались.

После дорожных приключений, здесь он испытал заботливый уход и с удовольствием остался у нее. В по-

следующие за этим годы она приобрела над ним власть. Правда, иной раз он колотил ее, когда был пьян, или если другая случайная женщина вселяла в него новое мужество, но позже ее взгляд сгибал его и опять делал трусом. Однажды она избила его и выбросила за дверь. Это была пронизывающая ночь, и петух кричал от холода. Утром Виллон опять забрался в дом.

Он чувствовал, что его жизнь больше не стремилась вдале, но запуталась в мелочах, впрочем, за некоторую горечь она вознаграждала его сладострастием.

У них было помещение, где они торговали вином. Все возможные люди толкались между этими столиками, которые никогда не пустовали. Здесь он встретил Баболлина и Жоффруа Рюделя,—они были с ним, когда он добывал антилопу из королевского сада. Но он мало говорил об этом и не удерживал их. Чужие господа, встретившись со стройными женщинами наверху, затем наслаждались с ними в нижнем этаже. В задних комнатах, которые они обшаривали под утро, им доставалось кой-какое платье, много денег и украшений, умноживших богатство Виллона.

Его низкая, жирная жизнь больше не давала ему стихов.

Однажды вечером, один странствующий ломбардец говорил там про принцессу Триполитанскую, которую никто на свете не видел, и доброта и красота которой были безмерны.

В эту ночь Виллон плохо спал подле своей полногруд-

дой жены и в последующие боролся, в гневе на самого себя.

В полдень четвертого дня пошел он к морю, над которым простиралось солнце, и там осенило его. Ему показалось, будто он стал легким и утратил вес. Небо стало светлее и белее, и он с такою ясностью все увидел, что, пораженный, пал на землю. В то самое время как он думал, что жизнь его закончится в спокойном унижении, эта жизнь стремительно восстала против него и его воли и выросла ввысь—к свету неба.

Голова у него кружилась, он бегал по улицам до вечера, потом взял много из скопленных денег и покинул город.

Корабль вез его. Море сверкало. Чуждый, далекий берег реял ему навстречу. Когда он сошел, сердце его было устремлено ввысь... жадное к прекрасному, готовое делать добро. Его душа была полна презрением к будущему.

Берег был непривычно прекрасен. Синие цветы легкой тафтой покрывали деревья в садах. Ржали, перекликались, кони. Рога и кларнеты звучали из шатров.

Он смешался с людьми. Но резиденция принцессы была не здесь. Многодневное странствование привело Виллона к ее городу.

Он спросил, где ее дворец. Он постучал.

Но железная дверь не щелхнулась. Он цел, и звал, и упорствовал. И все же дверь оставалась запертой для него. По целым дням упражнялся его ум в хитростях, но никакая мудрость не приближала его к цели. Он изу-

чил язык страны и наречия городов. Он ослабел и сошел с пути страсти и владел ничтожными женщинами, но его великое чувство только слабо трепетало среди них—и снова бросалось в широкий поток—к принцессе.

Однажды ночью, когда он с разгоряченной от вина головой играл в кости с дворянами из Бретани, они стали смеяться над его страстью.

На поединке, борясь по бретонскому обычаю, он опрокинул одного, но другой победил его. Тогда он плюнул ему в лицо от злости, что он попирает его надежды и даже в божьем суде одолел его.

Он попробовал пустить в ход наглость, чтобы увидеть принцессу.

Шумно въехал он на крупном жеребце на бруствер замка, поднял руку и крикнул вверх, к окнам: «Эй ты, курва!» Но никто не обратил на это внимания. Тогда он взбесился и поклялся своими внутренностями и Компьенским знаменем, что он будет обладать принцессой. Но площадь, обычно переполненная людьми, вымерла, и ни одно окно не отворилось: его дерзость осталась наказанной.

Он стал подкупать сторожей деньгами, вырученными от продажи мощей (торговлю которыми он широко вел с европейцами), он соблазнял любовью и песнями дворцовых прислужниц,—все было напрасно. Увлеченный своей задачей, он вручил свою храбрость военачальнику принцессы, он совершал набеги на неслыханные страны, видел зверя, оружие и человека, о которых он никогда и не подозревал.

В награду он просил, чтобы позволили ему увидеть принцессу, славу которой он разнес в песнях в глубь Леванта. Он просил, приказывал, угрожал. Все было напрасно.

Тогда, смирив свое упрямство, он бросил все и жил в тихом благоговении вблизи дворца. Вскоре он получил, случайно и без всякого старания, место во дворце. Он служил долгие месяцы, надзирая за рабами. Однажды утром, когда его особенно угнетало, что на его страсть даже не взглянули, он в отчаянии и нетерпении ударил молодую рабыню так, что она закричала.

В это время рука его окаменела. Покой струящейся силой овладел им. Он обернулся.

С террасы спускалась женщина, вся в светлом и красном. Ее шаги оглушили его. Медленно протекал образ ее по направлению к дороге. Виллон широко распростер руки.

В это мгновение она обернулась. Ее лицо кротко просияло. Сад залился светом.

Виллон пал на землю, страстно сложив руки. Его сердце поникло. Он плакал в ладони о своем ничтожестве. Когда он поднял глаза, принцесса сделала легкое движение туда, где было безоблачное небо, и ее образ погас за кустарником.

Три года воспитывал Виллон в себе силы к мирной деятельности и к жизни, стремящейся вознести сердце вверх, пока однажды чума не овладела всей этой страшной и не унесла с собою принцессу.

При ее погребении Виллон стоял возле гроба. Долго он вглядывался, устремив к ней всю мысль,—и вдруг внезапно увидел встающее ему навстречу ее лицо, сквозь камень саркофага, под которым она покоилась, сквозь крышку гроба,—и это лицо озаряло Виллона. Но образ этот медленно рассеялся и принял иной вид, который Виллон узрел с трепетом, пугаясь и закрываясь от него руками. Ибо память говорила ему, что нижняя часть ее лица, особенно подбородок, явно напоминала Лобу. Но сияние около висков было как у герцогини Вантадрон.

Тогда он вырвался из толпы людей, одетых в траур, выбежал вон и ничего не понимал. Перед домом он внезапно воскликнул:

— О, зачем, господи, женщины схожи между собой?

Глубоко взволнованный, он размышлял над этим, но в сущности у него остался *только образ герцогини*. Мысль о той, с которой он боролся, не покидала его. Он впал в упрямство и скитался по стране. О принцессе он больше не думал. Но лицо герцогини стояло перед ним, когда он путал волосы самой последней девки. Он бежал от этого. И лицо это утонуло, когда он напруг все силы для борьбы с ним.

Его время еще не настало.

Так влекло его к толпе, к простым людям, которых он оставил позади, в тихой жизни. Только кровь управляла его жизнью. Иной раз он начинал хвалить господя, а к ночи уже снова поносил его.

Странствуя, он вернулся в Геную.

Он пробрался к своему дому. Когда он увидел, что дом уже занят другими людьми, он почувствовал облегчение. Он не спрашивал о женщине, с которой он здесь прожил долгие годы. Это его не беспокоило. Пусть бы она ушла и из этой жизни, как ушла из его воспоминаний. Он брался за ту и за другую работу, но удачи не было, потому что у него мало было охоты. Однажды ночью он отвязал лодку, носившую имя одного его знакомого путешника, и поехал в Марсель.

Уже более зрелый, с слегка поседевшими висками, вступил он теперь на родную землю. Выгодно продав лодку, он снял маленький домик. Он решил остаться здесь, приглядеться. Вскоре он снял нарядное платье, которое носил. Он приобрел синие штаны, шерстяную одежду и красные сафьяновые сапоги, надел пояс и шапку. Он слишком хорошо знал восток, чтобы не взять над ним верх в торговых делах. Через его руки проходил всякий двусмысленный груз: свинина, женщины, ткани,—все равно что. Он начал косить глазами и потирать руки. Часто отвечивал он поклоны кому придется. Арабы боялись его. Испанские евреи звали его грозным перстом.

Однажды он принес в замок кружева и камни. Он увидел Лобу, но она не узнала его.

Она стояла посреди комнаты, пожиревшая, бездетная. Серый мех холодно окаймлял ее одежду. В темных волнистых волосах гордо поднимались султаны из удивительных стрел дикобраза. Она сказала ему, чтобы он живей поворачивался.

Подойдя, он низко склонился перед ней. Пока она вы-

бирала, он разглядывал ее снизу, услужливый, кося глазами. Он оставался равнодушен к ней. Он с удовольствием думал о тонкой девушке-цыганке, которая была молода и посещала его в назначенное время. Он запросил с Лобы неслыханную цену и ушел, скрежеща зубами от радости мщения.

В парке он пробормотал один раз: «Жуа-Нувель»!

Во дни молитвы, когда торговля была воспрещена, прибыли спаниолы, которые торопились выгрузиться и предлагали ему купить товар на выгодных условиях. Рано утром он прошел на их корабль. Пока он разглядывал на палубе кожи, на соседней лодке поднялся крик, этот крик подхватили кругом. Какая-то женщина, склонясь на колени, обняла руками якорь. Подле нее матросы с любопытством глядели в воду. Он посмотрел в том же направлении—и его глаза встретили голову маленького ребенка, всплывшую над водой; встряхнувшись, он спрыгнул в воду и вытащил ребенка.

Когда он высоко, обеими руками поднял дитя, солнце осветило бледное детское лицо,—и вот внезапно голова выросла и стала восходящим, нежным и проясняющимся лицом герцогини.

Мать извивалась перед ним, но он не видел ее.

Он тотчас же устремился в бегство. Проездом он жил в Каркасонском округе, странствовал по области альбигойцев. Одну зиму он прожил в замке Гелак, а летом кормил ланей и белок в замке Фанжо.

В качестве посла одного провансальского поэта отправился он с золотыми кольцами, с белыми и черными лен-

тами на север. Ни одно место не привлекало его. Неудовольствие его все возрастало. Иной раз, когда он был среди мелких людшек, в их звериной жизни, страсть с воплями влекла его прочь от них, к высшему. Из замковых же покоев глухое стремление тянуло его вниз.

Под вымышленным именем он пришел к герцогу бургундскому. Он взял себе титул некоего триполитанского дворянина. Он говорил на генуэзском, неаполитанском и восточных языках. Его песня владела всеми французскими наречиями. Снова безмерная предприимчивость овладела им. Это помогло ему быстро достигнуть близости герцога. Он тянул за собой железную линию врагов и в то же время ловко разрушал кольцо, окружавшее герцога. А тот осыпал его вниманием и милостями.

Он стал незаменим для празднеств и совещаний. Он призвал мастеров из Александрии, которые сделали бургундский дворец первым по роскоши. Он добыл герцогу обезьян для будуаров его дам. Для клеток у портала дворца доставил он танцующих медведей. Зверинец наполнил он львами; если герцог бывал в хорошем расположении духа, этим львам давали на растерзание фламандских быков.

Он пожаловал Виллона Золотым Руном.

Когда он был пьян, он обливал Виллона вином и бил его, того самого Виллона, который обычно, сверкая, скакал во главе его кавалькад.

Но чем выше поднималась внешне жизнь Виллона, тем сильнее страсть гнала его прочь. Его волосы понемногу бледнели на властной голове—и стремление к покою

тихо вошло в него. Но он повиновался гнавшей его неумолимости,—это было словно бы послушание невидимой звезде, которая магически влекла его из неведомой темноты.

Его ночи стали короче. Сон стал дряблым. Он принуждал себя, тянул.

Затем он сдался и выехал из этого города. Куда, он не знал.

Так он прибыл в Париж.

Он въехал туда верхом. Голова его гудела. То был город Виллона, сады юности, переулки и таверны. Он ничего не понимал, ехал.

Его лошадь остановилась. Это, как лунатика, пробудило его от беспамятства. Он видел все сквозь облака и воспоминания.

Конь его остановился перед дворцом герцогини. Но она не проходила уже вдоль золоченой решетки. Никакого движения не было в полуденном саду. Он подождал и повернул назад.

С прыгающими губами бушевал он по городским погребам и кабакам. Для многих он был потешным зрелищем в эти дни розысков и скитаний. С орденом Золотого Руна появлялся он в трущобах среди пропившихся актеров и убийц. Жадность увидеть, выспросить о старом, знакомом, неумоимо гнала его. Но он не встретил ни одной души, ни одной головы, которые были бы ему знакомы. Привычными и все же несказанно далекими—потому что не было людей,—были для него скамьи, вывески, комнаты, лица. Собор Богоматери он отогнал от себя, пораженный ужасом.

Герцог Вантадрон давно умер. Никто не знал о его жене.

Но ее улыбка, как луна, стояла над Виллоном, светлая и нежная. Однажды ночью он не удержался, прокрался по дороге через сад к задней стороне дворца, вломился, скитался там всю ночь. Под утро в нем забила ключом злоба, так что он схватил шпагу и, крича от страсти, крушил все в комнате, где она должна была спать.

Потом он потерял сознание, и когда пришел в себя, в нем была только огромная усталость и стремление к тишине. Много дней пролежал он на кровати в своей гостинице, размышлял, спал и созерцал садовые деревья, за которыми простиралось голубое небо и цветущие звезды. Потом он встал, позвал нищих, и кабацких завсегдаев и роздал им свои одежды. Свое золото он зашил в плащ. Только металл Золотого Руна сохранил он на груди под серым дорожным платьем. Он позабыл уплатить то, что был должен. С утомленными глазами, почти спокойный внутренне, пустился он снова по свету.

Через несколько дней он пришел к монастырю, расположенному в плодородной долине. Неподалеку, на горизонте, так что солнце по утрам окутывало блеском купола, реяли белые здания другого монастыря. Воздух был ясен и ласков, пахло цветами и тишиной.

Тогда Виллон удержал свои стопы—стопы странника—и порешил окончить здесь свою жизнь. Подле монастыря было общежитие для светских людей, которые предавались уединению, искали Бога и разделяли монашеские

уставы, не будучи монахами. К ним, пришедшим из мира, присоединился Виллон, ибо запах монахов и тонзур раздражающе бил ему в нос, а желание мира в его душе еще не победило его инстинктов.

Он помогал привратнику, который весь распух от подагры, так что суставы у него были скованы, и двигаться могли только глаза и четыре пальца левой руки.

Его любовью был сад. Когда он просыпался поутру, он смотрел через грядки и долину на другой монастырь, который вылупился из тумана. Потом он поднимался и поливал, пока была тень и солнце еще не начало низвергать зной. Ножом и ножницами умирал он тощий виноградник, окапывал корни и с влажным от пота лбом таскал тяжелые лейки вверх на холм. Он заведывал птичником и откармливал птиц, посыпая им зерна, и посылал дары—жирных кур—в другой монастырь. Он часто помогал делать сыр. Не раз ловил он выдр и жарил их, и однажды утром в саду появилось нежное вишневое дерево, о котором никто не знал, откуда оно взялось.

В свободные послеобеденные часы, он спокойно расхаживал длинными мерными шагами между гряд. Он смотрел на ящериц, которые грели коричневые головы на раскаленных до бела камнях; под бузиной, там и здесь, сидели жабы.

Казалось, что над его жизнью опустилась последняя тишина.

И вот тогда близ монастырского общежития разбили табор цыгане. Ночью клирики видели пьяного Виллона—он судорожно плясал в огненных отсветах. Позднее он

пронесся по дому, разбил заборы, и наполнил церковь сатанинскими криками. Он перепачкал алтарные покровы, изрыгая слишком изобильно выпитое вино.

Все были так поражены, что почувствовали к нему сострадание.

Аббат отпустил ему грехи, даже не заставив его каяться.

Виллон размышлял целыми днями, потом пошел в келью аббата:

— Я украл вишневое дерево ночью в соседнем монастыре,—сказал он и указал на белые стены на горизонте.

Аббат спокойно приказал ему отнести дерево обратно.

Тогда Виллон взревел:—Накажи меня!—и забарабанил кулаком в грудь. Аббат, улыбаясь, отказал ему в этом.

— Зачем? У тебя есть благие пожелания,—хладнокровно ответил старик.

Но прежде чем оставить келью, Виллон постоял еще некоторое время, растянув брови к вискам и неподвижно глядя.

Когда в полдень, держа в руке трепещущее вишневое дерево, он приблизился к женскому монастырю, в открытую дверь он увидел: через двор шла настоятельница.

Тогда преломилось его сердце, так что он вскрикнул, и блаженство так вознесло его, что он начал рвать на висках волосы и кричать.

Но она только обернулась к нему лицом. Оно было молодо и сияло. У нее были седые волосы. Это была Герцогиня.

Она не удивилась. Она только улыбнулась и сделала знак служительнице, которая взяла у Виллона дерево.

Тогда он уж больше не кричал, но взволнованно склонился и не осмеливался подняться. Долго пробыл он так, ворота уже давно были закрыты.

В сумерках он поднялся и с пением: „*Regina coeli laetare alleluja*“—он пошел, простирая руки, к себе домой. Там он затворился и пел день и ночь. Казалось, над ним было сияние. Спустя некоторое время он вышел, как будто постаревший, но радостный, одухотворенный, и обратился к своей прежней деятельности.

Он не убежал.

Все оставалось неизменно. По целым неделям бывало так, что он лишь мельком взглядывал на другой монастырь. Он меньше говорил со своими товарищами. Однажды в полдень, когда они сидели за трапезой, появился некий знатный дворянин от бургундского двора и велел трубить в рог.

Вышел настоятель. Но посол хотел Виллона, которому он привез приглашение вернуться обратно.

— Женщины и львы рычат по тебе,—крикнул он наверх в окно Виллону, который принимал его таким образом. Но Виллон сказал:

— Дай им жрать,—и прежде чем уйти, смеясь, сделал знак рукой.

Спустя неделю он вышел ночью и больше не выдержал. Как такса, крался он вокруг другого монастыря. Его обостренное зрение воспринимало подъем каждой лест-

ницы, колебание каждого светильника. Он скоро узнал комнату настоятельницы.

Потом он снова удалился надолго в свою комнату. Его единственными товарищами были два голубя, пятнистые, как соколы, с длинными хвостами. Они никогда не различались с Виллоном. Когда в светлые ночи он ходил по долине, они сидели у него на плече, и они танцевали вокруг него, когда он копал землю.

Однажды он изменил способ обращения с ними. Он внушил им свое желание, так, что они взлетали, бросались в лучистую высь и пропадали. Они знали, чего хотел Виллон.

Раза два в месяц он засовывал им в перья бумажку, на которой были написаны стихи. И вот, один раз его рука, принимая возвратившихся, с изумлением нащупала цветок.

Тогда он взял высшее, что у него осталось в жизни, он расстался с этим. Он снял со своей груди орден Золотого Руна и навязал его на голубя. Вернувшись в ту же ночь, птица, трепеща от резкого холода, принесла на конце крыла кольцо, сплетенное из волос.

Но белизна волос так поразила Виллона, что он больше никогда не отважился посылать с голубями вещи. Что другое могло быть, что превышало бы бесконечность этого чувства?

Через год настоятель дал ему поручение пойти и переговорить с настоятельницей об органе.

— Это по твоей части,—сказал он и отвернулся к бумагам.

Виллон медлил. Он встряхнул головой.

— Я не хочу.

Тогда настоятель оглянулся назад и внятно сказал:

— Ты должен.

Когда прозвучали эти слова, сила звенела в них так, что Виллон, уступая, поклонился и вышел.

У решетки встретил он настоятельницу. Опустив взор, передал он приказание и, запинаясь, объяснил дело. Она не ответила. Одной рукой, подняв ее до уровня плеча, она держалась за решетку и глядела на Виллона. Он прислонился к железу с другой стороны. Потом он поднял взгляд и встретил ее глаза.

Когда это произошло, рот его искажился. Тьма обвила его чело и заслонила ее. Он хотел поблагодарить за то, что она сделала ему добро в жизни, но ему казалось это непостижимым—пошевелить губами, и все же из того блаженства, которое его сотрясало и влекло вперед, так что железо дребезжало под его плечом, восстало в его смятенных чувствах одно мгновение его юности. Он сказал:

— Когда я ребенком пел псалмы...

Она подождала еще мгновение, приветливо улыбаясь, но его рот больше не мог справиться с потоком чувства—поток этот стал огромным, набух, Виллон бормотал что-то в воздух.

Он увидел ее еще раз издали—она уже шла через двор. Она обернула лицо к воротам и легко указала пальцем вверх, не пошевелив рукой.

Он знал, что он больше никогда ее не увидит. Это было в последний раз.

Только одни голуби летали к ней, пока в конце лета тяжелый камень, сорвавшийся с балок, не раздробил ей затылок; она в этот момент молилась. Десять монахинь, прямых, в белом полотне, отнесли ее гроб в большую церковь мужского монастыря. Когда процессия шла мимо, небо погасло. Тьма устремила к черте горизонта, плотно приникла к земле и погнала ночь и туман перед собой, которые, рыча, кружились.

Тогда закрылись церковные двери. Виллон поднял голову—он стоял у своего окна—и увидел солнце в лучистом венце, зубцы которого соприкасались со всем миром. Наступил вечер.

Виллон пошел вдаль. Но чем дальше он шел, тем легче несли его ноги, и жнивье расстилалось, как волны шелка. Леса внизу за рекой волновались в темноте синих сумерок. Он думал о Жуа-Нувель, так как множество мышей шныряло по земле.

Из хижины, обвитой горошком, вышла девушка с мотыкой. Его взгляд упал на ее легко выгнутые бедра. Горбатая дуга грудей выпячивалась из-под платка, и ноги стояли кругло, туго охваченные юбкой. Он отвернулся прочь, в сумерки, которые уже затягивали лес и стали краснокоричневыми, потом его взгляд опять упал назад. Он еще раз отвернул голову. Но в нежности этого необычного года его кровь набухла и бунтовала.

Все же он поборол себя и говорил себе трепеща: «Смерть герцогини, смерть герцогини»... Но слова были беззвучны. Он так задушил свою скорбь, что она не могла восстать, даже если ее будили. Он еще раз притиснул все свое со-

знание, как печать, чтобы заставить себя думать: она лежит под церковью, процессия, ладан, кричащая смерть.

Но все это оказалось недостаточно крепко.

Его рука схватила девушку, и кровь его рванулась к ней, как ни к одной женщине.

Ночью он возвратился, моля звезды, чтобы они убили его. Он вышел в зверинец и отвязал собак, которых приучал к охоте на волков. Они раскрыли кровавые пасти. Но ни одна не бросилась на него, как он ни подставлял им горло.

Тогда ему показалось, что его сердце должно само рвануться и лопнуть от скорби и отчаяния. Он надел власяницу, повязал вокруг шеи веревку и лег на посыпанный пеплом пол и так стал ожидать смерти.

После третьего часа ночи, так как он все же был жив, он поднялся в еще большем отчаянии и проскользнул к церкви. Там он прислушался. Потом отбросил смущение и, поднявшись, толкнул дверь ногой и вошел. Открытый гроб стоял среди восковых свечей. Чужой монах служил литию. Виллон взглянул и сурово показал ему рукой, чтоб он вышел.

Виллон приставил ему к животу нож.

Тогда суровое лицо монаха разлилось в сострадание:

— Ты наверно несчастен,—сказал он.

Виллон, вне себя, не обращал на него внимания, завыл, как собака, кинулся поперек гроба и так замер.

Каждые четверть часа монах запевал псалом, но это не отгоняло Виллона. Вдруг он вскочил и, потрясенный обликом умершей, вскричал:

— Заткни глотку, крикун! Молчи! Дай мне ответ: возможно ли любить эту женщину и в вечер ее смерти обнимать деву? Возможно ли это?

Он грозил. Его голос дрожал и он бессильно стучал носком ноги в пол.

— У тебя есть благочестие,—сказал монах.

— Оно не помогает,—вскричал Виллон упрямо, в последнем гневе.—Я чтил Триполитанскую святую и называл ее курвой—это я выдохнул вот этим же самым моим смердящим дыханием. Доброта герцогини осеняла меня, но я крал и убивал.

— Не волнуйся. Я знаю твою жизнь,—сказал монах.

Он спустился вниз, гася свечи, и, когда он внизу обернулся, его фигура слилась со сводом, его ряса реяла вокруг него, как темный колокол, и вросла в каменные ребра храма. Перед глазами впадинами его огромной головы клубились тени ладана. Когда же, стоя на клиросе, он возвысил голос, он снова стал малого роста, обычным, как прежде, но то, что он начал говорить, было так ужасно в его устах, что эхо ослепительно разбивалось в гудящей церкви.

То, что он говорил, означало:

— Ты почти достиг бога.

Но Виллон на это ответил совершенно спокойно:

— Ты прав, но я больше не хочу. Мне не одолеть вот этой ничтожной последней пяди. Мне не удастся завоевать бога. Тебе известно это, если ты знаешь меня. Пусть бог придет ко мне, ибо он может преодолеть мою кровь, а я нет. Пусть бог растет во мне, пока не созреет. Я не хочу

ему мешать и препятствовать ни молитвой, ни размышлением. Пусть все идет само собой. Я очистил себя от шелухи моей крови.

Пусть бог меня ищет. Я больше не ищу его. Я жду.

И даже великий зов ангелов во сне, который повелевал ему позволить влечь себя к свету, слышен ему был сквозь шум крови, так был положен ему закон.

Он встал, сложил герцогине руки крестообразно на груди. Потом он взял елей и миро и помазал ей голову, как новорожденной.

Эти места он покинул. Здесь он не мог больше жить.

Он обернулся еще раз, и как некогда он простер руку по направлению к Парижу, так теперь он поднял ее, обращаясь ко всей своей жизни, но не с угрозой и гневом, а с отрицанием. Она не привела его ни к какому великому завершению, поэтому она не имела для него цены, как ни была она полна и богата.

Но это было для него уже несущественно, ибо он больше не стремился к борьбе.

Тяжко опустившись на твердую скамью лодки, он погрузил весла в воду и поплыл... Чтобы жизнь катила через него свои волны, пока ему еще хватает дней; чтоб крестьянин под забором приколот его вилами, или бог вознес его в огненной колеснице вместе с Ильей. Ибо все то, что еще предстояло до окончательной развязки, было ему безразлично, и у него не было никакой цели. У него не было никакого желания. Только стремление к ясности и маленькое любопытство относительно конца.

ПОКОРИТЕЛЬ

В год Тигра рожден Тимур, в месяц Шуал,—со ступком крови, крепко сжатым в кулаке. Четырнадцать лет был он отпущен из своей юрты на первую охоту. Он убил тридцать оленей, в снегу глубиной по пояс. Дядя его Хадшиберлас помазал ему большой палец и подарил ему жену. В саду на берегу реки вечером играл он с ней. Ночью он убил ее и впился в нее зубами, переплыл реку, выпустил табун коней и вихрем промчался через страну Кеш.

Хадшиберлас назначил ему гарем. Однако, с этого дня он более не покидал шатра. Широкий, как жаба, сидел он, с'ежившись и косясь на складки шатровой ткани. Никогда не посещал он гарема, из недр которого бряцали ему на арфах. Его глаз застилался туманом, так что зрачек исчезал. Хадшиберлас окружил его шатер шпионами, которые испытывали его. Они говорили о доброте дяди. Они восхваляли его мощь, его бедра и ухмылялись по поводу силы его чресл. Постоянно наблюдали они за выражением его лица. Месяцами не могли они сообщить ни о какой перемене в его лице, которое только величественнее и непроницаемое замыкалось.

В праздник равноденствия, в доме Хадшиберласа шут передразнил эмира; тот позабыл осторожность и вскочил, держа руку за пояс. Прыгая через стол, убежавший шут опрокинул свечи. Кинжал эмира оцарапал руку стражнику. Какой-то рустемдар закричал, что Хадшиберлас истекает кровью. В неистовом смятении захлопнулись двери. Стражи извне заперли их, чтоб схватить убийцу. Когда ослепленный ужасом шут выскочил наружу сквозь прореху ковра, стражник вонзил ему в бок кинжал, и он испустил дух. В темноте эмир, узнав, что первый раненый был не Хадшиберлас, и не находя его, закричал, что он убит.

Крик долетел до шатра Тимура, но не вызвал перемены в его лице.

Позднее, бледные шпионы сказали ему, что пал с кинжалом в боку не Хадшиберлас, ибо они нашли его в углу зала, завернутым в шелковый ковер, с потным лбом.

Когда Тимур услышал это, волна крови кинулась ему в виски.

Несколько ночей спустя, он миновал двумя кошачьими прыжками стерегущих его шатер, прибежал ко двору своего дяди и спокойно подошел к привратнику. Он долго болтал с ним и снова побрел прочь. Но едва только он вышел из углубления в воротах, как быстрый скачек перенес его обратно, мимо жилища привратника, вверх, по ступеням. По узким незнакомым ему переходам скитался он, пока не увидел светильника.

Спящий Хадшиберлас лежал, нагой, на своем ложе,

держа руку на затылке женщины, избранной им на эту ночь. В углу стояло копьё. Тимур выдержал острие на лампе до тех пор, пока оно не затрещало, потом вонзил его женщине в грудь. Правая рука его ударила саблей по дядиной шее, левая оторвала голову прочь, и, прихватив голову женщины, поднялся он на башню, пустил с шумом железную вращающуюся треножку и встал на галлерею.

Белая ночь приходила к концу. Он взмахнул головами и провозгласил себя ханом. Впервые прозвучал его голос, гремя над крышами. Кровь со щелканьем капала из перерубленных шей на улицу.

Звездочет Гуинес вошел на минарет мечети и через весь город крикнул ему: «Береги великую, далеко звучащую трубу».

В полдень выехали эмиры в долину. Они бросали шапки в воздух и закидывали пояса за спину. Они бросались ничком, молясь солнцу, и девятикратным преклонением почтили нового хана. Один из князей подал ему коленопреклоненно чашу с кумысом. Слегка освежив голову, он объявил ему в обмен смертный приговор. Затем, чтобы Хадшиберлас, сменивший престол на могилу в сопровождении всего одной лишь женщины, не слишком скучал, он повелел убить шестнадцать его наложниц и объявил поход на Самарканд.

Они изрубили Эмира этой страны, и так как она поправилась Тимуру, то он построил себе возле города дом, окружил его стражами, лишенными языков, и водрузил знамя своей мощи перед дверью.

Он сам вонзил его в землю, девятиконечное, с черными и белыми хвостами. Медленно повернулся и вошел в дом.

Десять лет ни один татарин не видел его более.

Из этого места исходила отныне власть, которая настигала их всех. Каждый день из дальних мест поднимались всадники, долетали до пояса стражи, слезали, получали приказания и, отъезжая, встречались с вновь прибывающими, которые привозили вести. Дом окружала канава, глубиною в полфута, и ничего более.

С годами покорил он всех. Никто не осмеливался идти ему наперекор.

Однажды, в то время, когда войска были в походе, две орды невозбранно пробрались в дом. Они нашли его лишенным утвари и ложа, точно годами бывшим необитаемым. Эхо гремело им в ответ, шепчущие голоса их троекратно ломались о глухие стены. Их косые взгляды мерцали. Тогда страх помутил им глаза. Полупомешанные вскочили на спины коней и в близком лесу на ветвях повесили тела свои.

Однажды из степей вырвалось татарское войско. Всадники с выстриженными в виде полумесяца волосами, с широкими бедрами, с острыми вытянутыми плечами проскакали сквозь Самарканд, бросились в долину и устремились по городам. Они перешли потоки и очутились через два года на горных хребтах. Скользя вниз, потирали они много лошадей, но в виду Персидских долин стена утесов преградила им ущелье. По целым дням рас-

сыпали они передовые отряды—они не могли найти выхода. Горный скат дымился огнями становищ. Тогда налетел на ожидающих гонец, низложил предводителя и отдал бразды правления мелкому военачальнику, на которого никто не обращал внимания. Он хромотал и не владел левой рукой. Он повелел в течение недели нагревать утес при помощи семидесяти сооруженных им мехов. Потом спустил на него отведенную реку, так что базальт треснул. Войско устремилось в долину. Они разбили персов в двух стычках, и при отходе отозванный обратнo предводитель сдал свою должность Якоу, у которого глаза доходили до половины висков и который в одну ночь спалил в небеса Шираз.

Другое татарское войско, следуя безмолвному мановению, вышло из степей, миновало Самарканд, пролетело пустыню и колючую низменность. Всадники скакали по неделям, держа на седлах жен; вслед им верблюды с детьми и продовольствием. Облако испарины клубилось перед ними, и Геты поджигали свои деревни и покидали их, и кричали в пустыне по ночам. Кривые сабли горели на солнце. Полукругом летело войско по степи. Они привязывали врагам головы под колено и бросали их на солнце.

Они держали своих жен на седлах и не сходили с лошадей. Они разводили большие костры и скакали через них к горизонту. Конные гонцы ежедневно протягивали нити между войском и домом в Самарканде.

Из снежных степей вырвалось татарское войско. Лоша-

динный топот вторгся в юрты Курдистана. Татары поджарили на костре эмира и угостили им его сыновей. Спустя два дня после поражения вождя, сменился главнокомандующий. Возвращаясь в Самарканд, он пропал. Аксалла повел орду. Они скакали сквозь страну и гнали вместе коней и скот. Один монгольский князь в мольбах искал защиты от Аксаллы. Он гордо предстал перед ним, вопрошая о причине набега. Аксалла сказал:—Существует ли для меня что-либо, кроме повиновения? Твоя наружность лучше твоего вопроса,—и приказал вывести его вон.

Когда Аксалла устремился на Георгию, в шатер вступил подчиненный ему вождь.

Аксалла ел, стоя на коленях на полу, и недовольно покосился на дверь.

Подчиненный быстро поднял опущенное вниз лицо, громогласно отверз уста:—Раздели войско.

Аксалла поднялся, прислонился к столбу с насмешкой на губах:

— Кто ты таков?

— Достаточно властный, чтобы приказывать тебе.

Тогда, возмущенный этой гордостью, поднялся Аксалла навстречу вождю, но тот, расправив плечи, стал больше чем на две головы выше его.

Он снова отверз уста:—Раздели войско между Георгией и Карсом.

Тогда взбешенный Аксалла ударил в барабан, стража

вывела человека вон со связанными локтями. Аксалла стал на колени и продолжал есть.

Вечером распахнулся полог шатра под сильным напором плеча. Подчиненный вождь стоял посредине палатки, вооруженный и свободный.

Аксалла схватился за кинжал.

Но вошедший сказал:—Не беспокойся. Я мог бы принудить тебя, ибо ты не имеешь власти надо мной,— и, скаля зубы, он показал развязанные руки.—Но я хочу видеть твое благоразумие. Поэтому, я только советую. Раздели войско.

— Кто ты?—вскричал Аксалла опять, но полог шатра при восклицании уже снова опустился.

Путру Аксалла разделил войско.

Отряды, действовавшие против Карса, в полдень врезались в тыл войскам, которые должны были завлечь войско Аксаллы в винтовой ход. Они изрубили их.

Аксалла никогда больше не видел подчиненного вождя. Обе колонны конницы рассыпались. Георгия была разгромлена. Полукругом вырвались безмолвные татары из степей. Их кривые сабли сверкали на солнце. В Карсе они вырвали штабы роз и посадили людей на колья. На Георгию пустили они красного петуха, который душил города и пожирал рисовые поля. Земля дрожала под топотом вечно бьющих копыт.

Они скакали растянутой блестящей массой по узким тропам на склонах гор. Потом рассеялись по степи. Одного шерифа они распяли на пополам. Кто-то из них взло-

мал ночью городские ворота зубами. Они предавались резне целую ночь. Они держали жен на седлах и не слезали с лошадей.

Единое мановение вернуло их всех вспять.

На десятом году все татарские войска покатались полукругом ото всех четырех ветров к Самарканду обратно. Город шатался, когда они влетали, одно за другим. За два дня пути до города снежный вихрь захватил войско Аксаллы. Оно возвращалось с протяжным гулом. Снег таял перед ним на целые часы.

Они расположились дугой в долине.

Посредине поставили трон. Потом они стали ждать, устремив тысячи глаз на дом.

Тогда из маленького передового отряда выстроенных войск отделился простой татарин, подъехал к трону и вошел на него.

Он хромал и не владел левой рукой и был на две головы выше всех остальных.

Тогда все внезапно узнали его. Они выкрикнули: «Тимур Хан!» и пали ниц, рыча от восторга. Он встал и пальцем указывал то на одного, то на другого: «Я знаю тебя... Я знаю тебя...» Аксалла от стыда заполз под брюхо павшей лошади, но он велел вытащить его оттуда и подарил ему два кольца.

Так стал он видим, с неподвижным лицом.

Он ходил с непокрытой головой, длинноволосый.

Якоу после охоты, расположившись в доме, считал

по пальцам области, которые они покорили в течение годов. Ему это давалось с трудом, не хватало рук.

Тимур сказал:—Что это?—и кумысом на столе провел маленький кружок.

Потом взял он с собой Якоу в соседний покой. Они пробыли там весь вечер, до самой ночи. Позднее Якоу крикнул оттуда, чтобы привели Гуинеса. Тот появился, вырванный из сна, со слившимися глазами, полуодетый, и пал на колени. Но Тимур только указал вверх и приветствовал его. Гуинес писал всю ночь. Якоу дивился, прикурнув рядом, и грыз ногти на руке.

Тимур преобразовывал войско, менял, низлагал и возводил. Еще в ночь вбили они колья. Тысяча подчиненных вождей была насажена на них посреди солнцепека. Князь Танаиса получил собственный отряд. Простые татары были перемещены на первые места. Всадники получили кумыс, и они пьянствовали вечером от городских садов и до конца равнины, насколько охватывал глаз.

Огни озаряли кругом все ночное небо.

Тимур сводил счеты за десять лет. Виновные, словно пораженные молнией, сами кончали с собой. Ничто не скрылось от него из того, что происходило в их стане. Если он приближался к еще не осмотренному отряду, иные выскакивали, выпрашивая на брюхе прощение, с полным ртом жалоб. У него было только одно мановение.

Целые месяцы наводили вожди порядок. Тимур выслал к границе передовой отряд. Тот опоздал на месяц против назначенного ему срока:—полгода. Военачальник

сказал:—Мы не могли быть быстрее ветра.—Тимур пощупал животы у их лошадей, ощутил под пальцами жир и приказал казнить их.

Тогда выступил он против Московии.

Снова ринулись в степи татарские полчища, и хан посреди них. Они знали это и шептали о том на ухо своим лошадям. Войско московитов было в три раза больше татарского. Они кричали еще издали. Князь Танаисский описал в обратном направлении дугу, когда еще смеркалось. На утро солнце встало над крутым холмом, на который опирались враги.

С ревом двинулись они вперед. Якоу кинул навстречу им два крыла и отрезал одну часть. В промежутке бушевал Тимур, светлое серебряное облако лежало между массами, они не узнавали более своих крыльев... Венгерская конница московитов прорвала середину и попала в ловушку Аксаллы.

Тогда вспыхнул белый блеск на холме. Князь Танаисский врезался с боку с двадцатью тысячами коней. Московиты трубили в стальные трубы. Острые стрелы татар вонзались в тело лошадей, как в плетеные корзины. С треском прокалывали они светлые животы.

Белый поток с холма глубже вливался в толщу. Сквозь облако пронесся обратно Тимур, обнаженные сабли рассекали бока ревуших. Равнина дымилась от густого красного пара. Татары переложили сабли в левые руки и рубились. Молодой сын Якоу крикнул, пролетая мимо:—Це-

лый день придется точить сабли, чтоб выправить зазубрины.—Тимур наблюдал.

Аксалла пригнал целую ватагу пленных.

Он описал рукой дугу: «Рабы!»

Тимур покачал головой:

— В тебе слишком много еврейской крови, Аксалла.

Аксалла с гневной морщиной на лбу пал ниц. Тимур дал знак перебить пленных. Двадцать тысяч. Он взял самострел Аксаллы и выстрелил в одного из Московитских князей. Стрела попала тому в бедро. Его лошадь сделала скачек, он, падая, прыгнул вниз и рухнул. Опираясь одной рукой в землю, угрожая другой, подняв голову, он завизжал:

— Кровавый пес!

Тимур не пошевелился, прицелился ему в горло и выстрелом опрокинул его.

Потом он поднял слегка левую бровь, словно улыбаясь.

Вечером они убивали целыми часами.

На заре вышел, сияя, сын Якоу из шатра Тимура, вскочил на коня и полетел. Не теряя из вида сквозь пыль верхушки его шапки, скакали за ним две сотни татар. Они миновали поднимавшийся с поля битвы к горизонту плоский холм и ехали дальше, вперед день и ночь. Проскакав пять месяцев, достигли они передовых отрядов Китая. Под ежечасным наблюдением они прибыли несколько недель спустя в Юен-мин-Юен.

Они ночевали трое суток, прежде чем нарумяненный черный евнух отвел их во дворец.—шатер с бесконечными покоями, больший, чем Самарканд.

Сын Якоу, Зейнабдедин, вошел в зал, ведомый двадцатью проводниками. Сквозь строй евнухов с жирными ляжками, проскользнули они в сад. Двор был расположен вокруг золотого павильона. Торжественно доносилась заглушенная музыка и отдаленные колокольчики. Взмолнованно суетились кругом слуги. Богдыхан стоял за ширмой.

Внезапно все музыканты разлились в высочайшей гармонии своих инструментов, придворные пали ниц, на животы. Шагая через окаменелые тела, подошел сын Якоу, встал на одно колено перед троном и принял знак мира—Ю-ши, из белого серпентина с резными эмблемами.

Тогда хлопнул себя сын Якоу по бедрам и перевернулся от смеха. Чашки с молоком и ледяной водой звенели в руках китайцев. Их глаза стали круглыми и бессмысленно выпучились.

«Хан Тимур требует у тебя области Пазанфу и Пакинфу. И кроме того, свободного прохода к реке Ташни». Зейнабдедин скалил зубы и, прыгая на одной ноге, взвешивал на ладони Ю-ши.

Богдыхан не утратил ни одного луча достоинства в лице. Он приказал продолжать замолкшей от страха музыке и повелел сказать сыну Якоу, в то время, как слуга подносил ему чай, что только по доброте своей он еще не

приказал подать себе на стол ничтожное рисовое кушанье—татарское государство.

Зейнабдедин принялся неистовствовать и, строитивый, как бык, выкрикивать завоеванные области, но ширма задвинулась между ним и богдыханом.

Они поскакали назад, миновали с завязанными глазами границу. Через год и три месяца после своего отъезда достигли они Тимура. Ребра проступали на лошадиных боках.

— Это те же самые лошади?—спросил Тимур.

— Те же самые,—сказал Зейнабдедин

Тимур повелел пленным персидским мастерам воздвигнуть фонтан. По вечерам ходил он большими кругами около взлетающих и падающих вод. Он подходил к ним, простирая руку и быстро втягивал голову в плечи.

И вот весной исчезли все шатры. Горизонт вывездился летящими точками. Татары сливались в лавины, они смыкались, они неслись, равнина гудела под ними. Они прибывали с запада и собирались в пустыню Эрджимул. Второе воинство кипело на востоке. Широкие бедра охватывали бьющиеся животы. Конские шеи вздулись от кровавого напора. У них за плечами был ветер, и они безмолвствовали. Они столпились в баширской орде.

Два огромных полукруга, кони с маленькими, безбородыми татарами, с луками за спиной, пролетели через Азиатскую низменность в Китай. Их кривые сабли сияли на солнце. Они вытаптывали степи до тла.

Держа на седле женщин, они казались, скача в

сумерках, двуглавыми, сочлененные до нераспознаваемости. Их кони уходили в небеса шеями, издающими ржание.

По желтому раскаленному песку пронеслись они и ринулись на китайскую стену, желтую и обнаженную, тянувшуюся вдоль горизонта. Сорок тысяч их описало крюк, прошло потаенными ходами и ударило китайцам в тыл. Перед наступающими пылала раскаленная солнцем стена, подковы коротконогих лошадей плавись. Стена пала, расщепленная стрелами. Мандарин, взошедший на развалины стены, взлетел на воздух, истерзанный стрелами так, что от туловища ничего не осталось. Устремившись через стену, переплыли они поток и однажды в жаркий день стерли прибывающие войска.

Ночью выехал Тимур из своего шатра. Один из всадников спросил его, угодно ли ему видеть пленного богдыхана.—Успеется,—сказал Тимур и поехал. Была жаркая ночь, и тела в песчаной степи уже разлагались. Луна убывала.

Над высоко нагроможденными телами в цветных шелках реял свет, подобный газу, зеленоватый туман, который тяжело стлался по земле, словно не в состоянии подняться.—Их нечистые души смердят к небесам,—сказал Зейнабдедин, но Тимур не ответил.

Его большой и опаловый глаз, тупой, как у актера, выступил из орбиты, и казалось, что, покорная ему, на этом полукруге танцует страна, и, залитый, светил тонким слоем горизонт.

Крюк его левой руки, которым он натягивал тетиву, висел сухой, зацепившись за повод.

Они переехали через ручей. Тогда в темноте появились очертания, им бросилось в глаза мерцание вделанных раковин и металлов. Повозка цеплялась за повозку, вся мгла кишела съехавшимися повозками. Каждое мгновение скакали мимо татарские стражники, окружавшие целый город повозок. Они подъехали ближе к площади и въехали внутрь.

Там на множестве шнурков висели бумажные фонари. Из бронзовых сосудов вставали языки пламени, которые отвесно пылали, распространяя благоухание.

В яркоцветном, разрисованном скорпионами шелку, стояли на траве, разделенные на пять кругов, пять гаремов богдыхана, в середине каждой толпы—богдыханша. Прислонившись к ветке, стоял задумчивый Аксалла с полужакрытыми глазами и сторожил, как бы какой-нибудь мужчина не завладел лучшей добычей Тимура.

Тимур повелел показать себе самую любимую из жен.

Он волочил одну ногу. Колыхая бедрами, шаткой походкой всадника он вплотную подошел к ней.—Тебя звать?—фыркнул он.

— Мизер-Улек,—сказала она и не пала ниц.

Он опустил голову почти до соприкосновения с кожей ее головы. Его запах охватил ее. Веки ее слегка дрожали, но серые глаза глядели упорно и бесстрашно в его глаза.

— Ты подстрекала богдыхана к походу против меня? Она оскалила зубы.

Громко кинул ей в лицо Тимур:—Почему?—но не дрогнув от его рева, она ответила:—Он должен был владычествовать над тобой.

Она стояла, окруженная его вонью, с туманящимся мозгом. На красных губах ее плясали маленькие белые пузырьки. Она склонила голову на бок.

Он смотрел на нее. Светлые от ненависти глаза ее жалели.

Он заставил ее поднять взор. Мгновение он ожидал, потом сказал:—Твое становище может быть переведено в мой гарем. Я беру тебя пятой великой женой. Позднее местонабыванием твоим будет эта новая область.

Он кивнул в сторону, где уже строился поезд. Она стояла спокойно, в то время как взор ее застыл в густой тени. Затем она подняла ладони, взметнула руки к небу и с криком, с откинутой назад головой, упала к его ногам и укусила их от страсти.

Удаляясь оттуда, она уехала верхом. Бедрa ее были мягки и узки. Она была курдистанка, маленького роста.

Глаз Тимура снова укрылся под бровь. Они скакали по полю битвы. Татары, в пропитанном газом воздухе, грабили золото и вырывали серьги из ушей.

Под утро прибыли к шатру.

Тимур, однако, не спал.

Через час чьи-то руки снаружи распахнули внутреннюю завесу. Китайский богдыхан тихо шагнул два шага в покой. Тимур стоял, поднявшись ему навстречу.

Некоторое время они молчали. Тогда пленник опустил лицо, посмотрел в пол и поднял лицо снова.

Лицо Тимура внутренне напряглось, когда тот начал:

— В круговращении семи планет, семь раз пропел я круг в двенадцать лет...

Тимур указал на подушку.

Богдыхан покачал головой.

— ...я был счастливейшим владыкой. Я имел во всем успех. Я имел покой. Ты, повидимому, счастливее меня.

На одно мгновение серое лицо Тимура передернулось. Под смежившимися ресницами скрылся узкий разрез изумленных глаз. Потом глазные яблоки выступили широко из глазниц и уставились в безграничное.

— Мне нет покою! Ты ошибаешься! На мне висят столько собранных мною воедино вещей, что они распадаются даже во время моего сна. Они рассыплются, стоит мне только заболеть. Я один являюсь противовесом. Тут больше мучений, чем ты предполагаешь, маленький богдыхан.

Тимур наклонился пониже и взглянул на человека, стоявшего против него. У него был ястребиный нос и темный взгляд. Он был избалован женщинами и горд своими годами.

Богдыхан отступил на шаг, поднял голову и сказал, как бы говоря про себя:

— Я повелел жрецам двухсот городов обходить вокруг солнечного огня и бить в медные литавры, дабы я победил. Я не свершил этого.

Тогда, изменившись в лице, он шагнул опять вперед и сказал, посмеиваясь, Тимуру:—Что это доказывает?

— И что это доказывает?,—бросил тот ему обратно в лицо.

— Для тебя ничего,—сказал богдыхан, останавливаясь на каждом слове,—но на самом деле, две вещи; что твоя победа ошибка и ложь,—или что богами предназначено мне склониться перед испытанием.

Тогда Тимур поднял впервые руку и проревел:—Нет! Слабосильный!—Голос его прокатился по шатру так, что завеса заколебалась.

Богдыхан же, молча вопрошая, поднял свое спокойное лицо.

Потом он сказал:—Ты мучишься под бременем своих деяний? Почему?

Тимур холодно ответил, что величайшая повинность перед богом, которую несут столь высокие главы, как он, заключается в том, чтоб их почестям не было конца. Все, что он свершает и творит, он заимствовал от бога. Бог стоит при его начале и конце, ибо его предназначение—участвовать в столь великих войнах.

— Откуда ты это знаешь?

Тогда засмеялся Тимур силою, как волк, и кровь бросилась ему в лицо так, что оно засияло в сумраке шатра.

— Где тот, который может опровергнуть?

Теперь богдыхан опустил голову. Он стоял, дрожащий. Бледный.

Потом он сказал:—Кто ты такой, что возносишь себя так высоко?

— Большой, чем ты, который столь много накопил всего для меня.

И тело его тоже светилось теперь. На нем была простая военная одежда его всадников, но блеск исходил от ее краев, широкий и резкий.

Короткий трепет пробежал по богдыхану.

Потом он склонил колена. И в то время, как сознание медленно, с перерывами, возвращалось на поверхность его глаз, он попросил разрешения совершить дальнейшее путешествие в своей выложенной раковинами повозке, ибо бремя пережитых годов давит ему грудь.

Тимур коротко кивнул.

Здесь перед ним был могущественнейший владыка с мясистым телом, даже и в таком возрасте обнаруживавшим юношескую мощь того прославленного стрелка из лука. Он усмехнулся и поднял его.

Тогда богдыхан подошел к нему, поднялся на носки своих туфель и поцеловал его в губы.

Повернувшись, стоял он, обратив спину к двери. Левая рука его взялась за завесу, чтоб ее отдернуть.

— Не забудь, что значит, что я ни с одним человеком не говорил более, чем с тобой,—сказал сдержанно Тимур.

Улыбаясь через плечо, богдыхан ответил:—Не бойся, что тот бог, который во мне жил столь долго, откажется от своих предназначений.

Тогда поднялась завеса, и взойшедший под утро сери месяца повис перед ними.

В то время, как богдыхан под ним проходил к повозке, показался с востока поезд женщин. Тимур не смотрел на них, повернул голову в сторону, и когда взгляд его встретился с двумя татарами, они подскочили сзади к идущему богдыхану и изрубили его.

Женский же поезд пристал к углу шатра. Верблюд встал на колени. Всадники тотчас же рассыпались в толпе женщин. Но из двухсот одна выбежала. Она выставила руки в стороны, подняла ладони, выступила вперед, и туманное солнце было у нее на лице. Так перешагнула она через труп, не упав. Она не замочила ног в крови. Она дошла до Тимура, помедлила одно мгновение, отверзла с легким звуком уста, потом воскликнула:

— Я воспрепятствую тебе идти далее. Довольно.—Так стояла она, с закрытым лицом. Она была китаянка. Тимур повелел не убивать ее.

С верблюда соскользнула Мизер-Улек. Она указала на зарубленного: «Венец счастья пал с его главы». Она кругло сложила руки и сжала свою левую грудь. Свободно закинув голову, смотрела она на китаянку, угасший взгляд которой не замечал ее.

Тимур видел взгляд, разрушавший то, на что он падал.

Несколько времени он сравнивал обоих.

Потом одно мановение двинуло их дальше. Поезд покатился прочь.

Вечером, он повелел своей любимой дочери, с которой он спал, вернуться обратно, в дом его дочерей, и передал ее ложе Мизер-Улек.

Зеленое облако обволакивало войска в течение десяти дней, пока они делили добычу. Стаи диких зверей с гор рыскали по долине и жрали на пиршествах. Лошади падали от чумы, и татары гибли толпами от жары и запаха тления. Тимур дал им на убой коней из своей добычи, и они жрали сырую конину, чавкая от наслаждения, пока у них не лопались животы, и они, давясь, не падали поверх мертвецов. Аксалла и Якоу получили китайских принцесс. Гаремы колыхались, наводненные материями, шелками, рубинами и шатрами с золотыми подпорками.

За день перед отъездом они устроили пиршество. Тимур отдал приказ эмиру в Петчи-ли-по позаботиться о том, чтоб в мозг их проникало нечто иное, чем конский запах. Гуинес определил положения светил. Однажды поднялся князь Танаисский, указал на музыканта Сафийедина Абдулмумедина и сказал: «Прими руководство, Сафийедин». Тогда поднялся Тимур и воспретил ему, даже если б он носил имя великого халифа, называть неполным именем человека исключительного. И подарил музыканту кольцо.

При источнике Балдшума вошел Тимур в шатер китаянки. Ее светлый взгляд упал на него. Он указал на франкского дога и подарил ей его. Он спросил ее об ее происхождении. Но она была не в силах отвечать.

Она поглядела на него влажными фарфоровыми глазами. Тогда он покинул ее. Они поехали дальше.

В одну грозовую ночь Мизер-Улек велела подать китаянке чаю, но у той выскользнула чашка. Она с усмешкой взглянула на Мизер-Улек: «Яд!» Тогда Мизер-Улек заплакала, обняла ее и вонзила ей в бок кинжал. Но он только задел кожу. Тимур повелел взять китаянку из шатра Мизер-Улек и перевести ее в шатер своей дочери.

Они ехали месяцами. Палящее солнце клубило им в лицо пыль, они прорывались сквозь снега, пока, наконец, не достигли восьмого рая. Самарканд светился сквозь сады. В долине Кьянегюл построил Тимур дворец среди зарослей роз. Багдадские художники расписали стены. Двор был возведен из мрамора и талька, своды сияли изречениями из корана, двери рычали от бронзы. Колокольные башни вырастали из углов. Он построил приспособление для накачивания воздуха и подземный зал.

Он дал его своей пятой великой жене Мизер-Улек и при ней двум сотням наложниц. Ночью, какой-то сон отпугнул его от китаянки, и он подарил ее в гарем Зейнаб-дина.

Он сам жил в темном крепком доме с канавой, глубиной в один фут. По вечерам, как пантера бродил он большими кругами вокруг встающих и падающих вод своего фонтана. Он подходил к нему, простирал руку и втягивал голову в плечи.

В щекотке судорожного смеха, один черкесский князь

отрубил головы двум воинам Тимура, которые разбойничали. Тимур поднял войско.

Перед выступлением он устроил охоту.

Охотничьи леопарды в шелку и ошейниках проскользнули в долину до противоположной стороны озера. Там они почуяли след, уткнули носы в землю и ринулись в лес. В углу просеки увидел он скользящую мимо женщину. Тимур натравил леопарда, но тот лег на землю, так, что Тимур в бешенстве пустил ему в крестец стрелу. Он повернул и перерезал женщине путь. Он настиг ее на лошади, становившейся на дыбы. Женщина плавно поднялась, воздела руки и замерла. Зрачки погасли. С закрытыми глазами, потемнев лицом, она сказала:—Вступи на землю покоя! Довольно.

Тимур направил на нее лук.

Она оглядела его:—Я дважды предостерегаю.—Он затрясся в холодном смехе.

Это была китаянка. Она вскочила на ветку. Сидя, как серебряная обезьяна, она сказала вполголоса:—Еще сегодня тебе приключится несчастье от белой кобылы.—Тимур задумался на время одного биения сердца. Потом он сказал:

— Ступай назад, в дом моих дочерей.

Он ехал по следу, через болото. Коричневый ком зашипел на суку, желтая пасть впиалась в глотку заржавшему коню.

Тимур не мог спустить лука вблизи. Тогда появился сын Якоу. Тимур смотрел на него, пока он, метко

целясь, натягивал тетиву. Стрела вырвала тигру глаз, отклонилась и вонзилась в лоб Тимуру. С ревом соскочил хан, так что лес содрогнулся, схватил кошку за густую шерсть на задних лапах, взмахнул и, одним ударом, бросил ее об землю, так что голова, дрогнув, раскололась. Потом он оглянулся на Зейнабедина. Он сидел на белой лошади. Соскочил вниз.—Это не твоя вина,—сказал Тимур корчившемуся на земле.—Ты испытал.

Но тем не менее, вечером он дал ему в своем шатре поручение в Китай, которое удаляло его на многие годы.

Потом он позвал китаянку. Он приказал подать ей кумысу и прикурнул рядом с ней с шахматами на коленях. Когда она сделала удачный ход, он сказал, быстро подняв взгляд от четырехугольной доски:—Приходи опять.—Она пришла со щенками, которыми оценился дог. Они ползали по телу лежащего хана и лизали ему бороду. Он смеялся и, играя с ними, по неловкости, раздавил одного щенка. Тогда поднялась на него старая сука. Он не обратил на нее внимания, а повернулся к китаянке:

— Давно ли у тебя ясновидение?

— Всегда.

— Ты предсказывала китайскому богдыхану совершившееся ныне?

Она кивнула.

— Мизер Улек возражала?

— Возражала.

Тимур сияющим взором взглянул на нее. Она клуби-

лась, как пыль в его взгляде. Затем, его глазные яблоки покраснели и выкатились. Он встал, голос его гремел так, что собаки завизжали, но он говорил негромко:—Почему ты предостерегаешь меня?

— Я должна.

Он встряхнул головой, но этим не поверг ее ниц.

Она поднялась. Твердо и тихо сказала она, и это было сильнее, чем его зычный голос:—Я должна! Довольно! Вкуси покой! Не езд. —И глаза ее медленно источали на щеки слезы.

— Нет,—сказал Тимур,—и выслал ее вон. Сейчас же приказал он призвать Гуинеса. Тот исследовал расположение светил, задрожал и предостерег от нового похода.

Тимур сидел три недели в своем шатре, с известковыми глазами, безмолвный. Его голова пылала сильнее, чем лучинный факел в темноте. Его мозг бесновался, как бык. Потом он рванулся и отправился в поход.

В день, когда он отдал приказ, ринулась пылающая Мизер-Улек на его ложе, и он взял ее с собой.

Передовой отряд, благодаря коварным проводникам, был окружен в ущельи и изрублен. Оттеснив Тимура, убили они под ним двух лошадей. С женщиной на седле пробивал он себе дорогу. В кожаной броне, утыканной железными остриями, спасся он, прорываясь, как кабан.

Он сказал, когда Мизер-Улек спрыгнула с лошади:—Снова ты не победила.—Она быстро взглянула на него, насмешка появилась на ее губах, и в полдень она пове-

силась на веревке на окне. Но он срезал ее. Без волнения, почти смеющийся,—до того спокойный.—Еще не пришел конец,—сказал он.

Выйдя вон, он приказал обезглавить проводников, целую толпу их помощников растерзать. Он глядел на это. Выйдя из кровавых паров, впитав из жестокости силу и упрямство в стиснутую грудь, он взглянул на становище женщин, холодно заставил опуститься взгляд китайки и предпринял поход вторично.

Он удался. С ясным челом, с непомерно выкатившимися глазами, руководил Тимур днем битвы. Никто не выдерживал его близости. Невидимая буря кружила вокруг него. Прижав локти, скорчившись, источал он из себя волю, словно боролся с невидимым врагом.

Он велел отрубить эмиру голову. Он послал ее Мизер-Улек. Она приказала воткнуть ее на кол у входа в рай.

Вернувшись, Тимур повелел привести себе в шатер китайку.

— Что ты предсказывала недоброе? Все удалось!

Она усмехнулась:—Ты захлебываешься в крови! Ты не смеешь идти дальше.

Но его голова лопалась от замыслов.

— Желтый комар! Что меня удержит!—И он взмахнул в воздухе рукой.

Но непоколебимо, улыбаясь, она сказала:—Я!

Он схватил меч, чтоб зарубить ее, но опустил и

выслал ее вон. Он пошел к фонтану, обошел его и велел опять призвать китайку.

— Я оказался сильнее твоего предсказания,—он высил голос, но тот продолжал быть глухим.

— Да,—сказала она,—ты превзошел мое предвидение, но стрела по-прежнему направлена тебе в лоб. Тут конец.

— Когда?—закричал Тимур и заржал от хохота, как лошадь.

Ее лицо впало. Потом одним толчком, прыгнув, как из кратера вулкана, она прошипела:—В седьмой день месяца Рамадана.—Потом она опустилась на пол, утасшая от изнеможения.

Это было через год.

За трапезой военачальников, Тимур возложил неожиданно правление на главу Якоу, дабы он заступил его место. Они хранили молчание и не вопрошали.

Ночью он совещался с Гуинесом.

Его мозг был наполнен глухим торжеством еще до выступления. Он смеялся всю ночь. Гуинес трепетал. В последний час Тимур сказал:—Ты веришь в меня?—Он ударил по столу совсем легко, но ударом задел колено Гуинеса.—Да,—простонал тот. Тимур усмехнулся.

Поутру шатер Тимура покинул великан-татарин. Он скакал, словно духи сидели у него в бедрах. Лошадь, брыкаясь, била задом в воздух. Голова повисла между передними ногами. Иной раз они кружили. День и ночь

отбивали копыта однообразные удары по степи, всадник считал удары. Так скакали они.

У озера они сделали привал. Всадник снял штаны и кафтан, которые затвердели от пота, бросил их на солнце и кинулся в воду. Конь пил, пыхтя красными поздрами. Там оставался он несколько недель, смотрел в небо, смеялся, рычал, молчал, упражнялся в беге и метании диска и заставил одного проезжего всадника играть с ним в мяч, вплоть до наступления темноты.

Потом он вскочил на коня и поехал далее. Белая пена хлопьями летела из жующих челюстей коня. Медленно расступалась перед ним местность. Он в'ехал в абрикосовые и фисташковые леса. Заяц перебежал ему дорогу, он застрелил его. Когда он ел, ему повстречались люди, не носящие оружия. Их юрты были защищены от солнца тенью смоковниц. Они работали земледельческими орудиями в садах и рощах. Их женщины были острогруды и мягкотелы. Не было ни копыя, ни лука.

Он жил среди них, принимая в себя мир, питавший всех. Раз ночью жена одного воедзя вползла на его циновку и бросилась на него. В ту же ночь еще поднялась завеса. Светлые глаза мужчины, сверкая, уставились в темноту. Его рука быстро схватила татарина за горло. Тот сорвал кирпич с очага и ударил его по спине так, что он, скорчив в воздухе руки, испустил дух.

Татарин покинул эту местность, вскочил на коня и полетел дальше. На седле его жила в течение восьми

солнечных и лунных восходов острогрудая женщина, пока он не покинул ее в другой юрте.

Вблизи города Тахауцегу, он соскочил, вытащил из кармана рваной одежды меха и золотые монеты, и, украшенный, в'ехал в город. На улицах он привлек внимание. Китайцы смеялись над ним, смеялись над штанами, по которым струился пот, над изумрудными цепочками в его ушах.

Безоружный, приехал он в Каравансарай, разделся и лег спать. Ночью кто-то похитил у него убор. Он встал под угрожающими взглядами, рванул ручку двери, в одной рубахе догнал вора, убил его на улице, вернулся обратно и лег. Ворчание зверинца встретило его. Он заснул. Когда он проснулся, все было у него цело, но он был один.

Татарин перевалил через горный хребет, проскакал степь и приехал на границу пустыни Эрджимул. На утесах жили трепещущие монголы, которые днем собирали белену, замирая от ужаса перед львами и пантерами, рев которых по ночам разносился по местности гулками волнами.

У них были медные котлы, в которых они варили белену, пока та не закипала. Они снимали пену и продавали ее. Это был опиат, одурманивающий на два дня.

Татарин, пыхтя, тянул ее целый вечер, вскочил на коня, поскакал в пустыню и улегся среди цветов оазиса. Целый день его, спящего, одолевали грезы о битвах и женщинах. В бреду он кричал так, что его рев заглушал рев

зверей. От его одурманенного тела струились токи, которые отгоняли зверей. Львы шарахались назад, а пантеры визжали от ярости.

Пробудясь, он пролетел большую долину до красновато-горного хребта. В середине поднималась пирамидальная гора, изборозженная с одной стороны восходящими уступами, крутыми, как лестницы, и блестящими от красноты. Люди из деревень указали ему путь, ведущий мимо горы, и сказали, что со ступеней несетя вихрь, который, подхватив его, швырнет его в реку и разобьет.

Он поднялся по лестнице и не упал.

Наверху, где плясал белесоватый вихрь, он подошел вплотную к пропасти. И прямо поднял голову. Вихрь расступился перед ним. По-прежнему стоял он в середине воронки, которая кружила вокруг него струи воздуха, так что долина плыла у него перед глазами, как под текучей водой.

Он спустился назад и поехал в Персию. Проезжая через маленький городок, увидел он китайку на верблюде, пересекающую площадь. Их взоры встретились. Одно слово повергло верблюда на колени, она бросилась к Тимуру, обвила руками шею скачущего коня, чтобы он остановился, и проволочилась по земле.

— Чего тебе нужно?

— Тебя.

— Откуда ты?

— Я ищу тебя.

Они остались тут.

Из окон обильного садами города свешивались шелка. В долине волновалась светлая пшеница. Виноград обвивал беседку.

— Хорошо так жить,—сказала китайка, спустя несколько дней.

Сквозь синий вечер долетели оклики минаретов, возносившихся белыми пламенами в небеса.

Татарин рассмеялся:—Для краткого отдыха.

Их сад колыхался, полный благоуханий. Птицы плясали в гравии, по лужам, оставшимся после сверкающего дождя.

Когда однажды он осматривал в стойле коня, она сказала, стоя среди фисташковых деревьев сада:—Ты не смеешь далее,—и впервые снова закрыла глаза.

Тогда он вытащил из куста зеленую змею и поднес ее к своему языку, который она тотчас же пронзила зубами.—Где же сильнейший? Я ищу его все время?

Язык распух, вздувшись от красной слизи. Он все набухал и, наконец, заполнил рот, так что ни один звук не вырывался более из горла. Когда голова татарина стала от яда затекать синевой, он пожал плечами и откинул ее назад.

Его глаза выступили из орбит, одно мгновение казалось, что он впитывает в себя всю видимую местность. Потом волна крови кинулась ему в голову, и умерщвленная опухоль спала.

Ночью китайка плакала и уговаривала его, в то время, как благоухания садов поднимались над синей тьмой.

Но он не послушал ее и ушел в беседку, лег на правый бок и погрузился в сон.

Тогда легкий трепет пробежал по выющему на веранде винограду. В горнице показалась голова женщины. На четвереньках, подобно ласке, перебежала она покой, высоко нацелилась на кровать, сжалась в комок и, плача, воткнула нож в грудь татарину.

Но он, о ребро которого погнулось железо, схватил ее, сорвал светлое платье с ее желтых твердых грудей, на которых сидели черные лакированные соски, и притянул ее в свои объятия.

— Я люблю тебя, — бормотала китаянка, замирая, — я слишком люблю тебя.

Топот копыт уезжавшего пробудил ее утром, с полубезумными глазами от сна.

Она протянула руки. Потом вскочила на верблюда и понеслась по его следам, опустив голову к земле, как рысь.

Татарин скакал сквозь нескончаемые сады грушевых и гранатовых деревьев, через деревни и города. Облако испарины окружало его. Конь его скакал, с жиром отдыха меж ребер. Одежда была в лохмотьях, волосы свисали с его одичалого лица.

На склоне горы, на обрывистом утесе висел город. Два стражника вышли навстречу ему. Увидев его внешность, они впустили его. То была еще Сассанидская крепость, он узнал это по расположению стен. Весь город кишел уличными разбойниками. Татарин пьянствовал с ними

и в первый же день в ссоре убил двоих. Он овладел властью.

Выступив в поход, они вскоре встретили татарский караван, идущий в Мекку. Они ограбили его. Татарин повелел выколоть глаза проводникам и послал их обратно к Тимуру. Они должны были указать ему дорогу туда, где их ослепили.

Они вернулись, с ними разъяренный Якоу и войско. Разбойники бросились в город, на который готовили набег татары. Высокий татарин взял в свои руки оборону.

В частых вылазках брали они пленных. Они убивали их на стенах, мастерили большие луки, насаживали головы на колья и сбивали их стрелами вниз, в татарский лагерь.

Якоу выставил пращников, но и татарин сделал то же самое, и стрелял одновременно с Якоу, так что гранитные обломки сшибались вместе и рассыпались.

Якоу повелел казнить медлительных воинов и направил машины на стену утесов, чтобы подкопаться под город. Однажды, во время разведки, которую производил Якоу, осажденные в городе пустили в ход механизм с рычагом. С шумом вырвался из скалы поток и смыл Якоу и его людей в водоем, из которого посреди города их выловили неводами.

Один из военачальников был прежде Якоу введен в покой, где его окликнул голос, доносившийся из занавешенной горницы. Военачальник пал ниц и молил оста-

вить ему жизнь. По мановению из-за ковра, он был вышвырнут вон, за ноги, как свинья.

Вошел Якоу. Он скорчил гримасу и оглянулся.

Голос за занавесом крикнул:

— Видано ли, чтобы какая-нибудь собака осмеливалась, без приветствия...

— Пусть собака, да не твоя.

— Пленник!

— Не гордись победой. У Тимура триста тысяч таких. Я только один из них.

— Не бахвалься.

— Ты татарин. Тебя возвысила измена. Я был верен.

— Я разрублю тебя пополам.

— Делай это скорей,—сказал гордо Якоу и раскрыл грудь.

Занавес заколебался под высохшей рукой, которая зацепившись за него, несколько секунд тянула его. Потом распахнулся.

Как волк, скалил зубы Тимур, смеясь в лицо Якоу.

Якоу пал на колени:—Ты смирил Аксаллу. Теперь ты смиряешь меня.

Тимур вывел его вон. Они открыли ворота, чтобы татары проникли внутрь и перебили бы персидскую сволочь, ибо что ему было теперь в ней. Тимур сидел на коне. Когда первые толпы ворвались, он сказал, обратясь к Якоу:—Если б вы взяли город, ты думаешь, вы бы поймали меня?

Но ранее, чем прозвучал ответ Якоу, он перемахнул,

круто вздернув коня, через стену в реку, переилыл ее и вышел на берег. Якоу поспешил за ним по верхнему мосту и кричал по сторонам, что это хан.

Тимур промчался через болото и лес, нагнал остолбеневшее войско, промчался сквозь него, воняя жиром и потом, в разорванной одежде.

Перед шатрами стояла, выпрямившись, Мизер-Улек. Татары махали кривыми, сверкающими в воздухе саблями. С верховья реки скакала на верблюде женщина. Она приблизилась, то была китаянка, в то время, когда Тимур плыл сквозь волны радостного воя.

Тимур остановил лошадь.

Тогда он увидел на стене города, что кто-то натягивает лук, и выпрямился.

Он стоял, высокий. Как отлитой. Ни один волос не шевелился.

Долго смотрел он в молчании на целящегося, рука которого все туже натягивала тетиву.

Это был седьмой день месяца Рамадана.

Время исполнилось.

Примчалась стрела, прорезала воздух свистящим звуком, ударилась в лоб Тимура, и отскочила от него.

Тимур сидел твердо. Потом глаза его ушли вглубь глазниц.

Мизер-Улек бросилась вперед и прижалась к нему, крича и обнимая его колена. Тимур оставался спокоен, сдвинул задумчивым движением волосы со лба, даже пятна не было на нем. Его лицо высылось, как утес.

Когда медленно подошел к нему верблюд китайянки, он тихо сказал, указывая на стрелу:

— Дайте стрелу ей.

Она подержала ее несколько секунд в оцепенелых руках, внезапно пристально глядя на него, подняла руки к глазам, защищая их, открыла рот и упала, бледная, безмолвная.

...Тимур поскакал в Самарканд.

Трусливого военачальника он вез в ящике с собою. Тимур повелел его, слишком ничтожного, чтобы быть убитым, обрить, окрасить охрой и белилами и босого, с женским чепцом на голове, провести по городу. В тот же день, когда он павлиньей тиарой возвел в звание своей шестой великой жены китайянку, он отдал одну из своих дочерей Якоу и прекратил поручение—ссылку Зейнаб-дина.

Никакое мерило, никакое испытание не сдерживало более крушащего взрыва его замыслов.

Войлочные шатры дымились под долинами. Татары зачесывали назад длинные волосы на выстриженных в виде полумесяца головах и умастили маслом грудь. Небо перед ними пылало огромным сводом. Гул выбитой степи катился перед копытами конницы. Тогда они ринулись в набег.

Они спускали каленные стрелы, и селения дымились. Они катились через рисовые поля. Лиственницы росли на соседних горах. Слепленные в темные комья, шли они на головокружительной высоте в синем небе через мост

в Алмалиг. В городе струящихся источников, вокруг которых жили турки и китайцы, устроили они празднество. Сверкающими зубами рвали сырую конину, пыхтя пили кумыс целые ночи напролет. Они грабили турецкие гаремы и заставили ударами дубин принять мученичество потомка пророка.

Степь мерцала от скачки. По ней образовались металлические каймы, которые раскалялись, стекловидная почва пылала. Глаза болели у них, но все же они скакали.

В полдень с дерева свалилась обезьяна и укусила Тимура в плечо. Он не обратил внимания на выросший гнойный нарыв. Китайянка давала ему мази, но нарыв расплылся по новым местам. Тимур повелел ежедневно убивать двух человек. Мозг их пожирала рана и, насытившись, закрылась через несколько месяцев.

Немая, безмолвная, глядела на него китайянка, занимавшая чаще других жен его ложе. Его чело было ясно.

Посольство баязетского султана привезло двух белых попугаев. Мизер-Улек разделяла шатер Тимура, когда оно прибыло. Она поднялась во весь рост, высокая, нарядная и с подведенными глазами, приняла коленопреклонение послов и попросила у Тимура птиц. Он сказал, что рад ей угодить. Обратившись к чалмоносцам она сказала им, что даже если она и будет целыми днями забавляться птицами, она выучит их все же говорить только то, что подобная пыпинка-подношение ни на один миг не удержит Тимура от низвержения их султана.

— Ты горда!—сказал один из туркменов.

— Не нужно быть гордым, чтоб говорить столь незначительные вещи,—сказал Тимур.

Послы ушли, трясаясь от гнева и трусости.

Татары громили катапультами замок, омываемый морем, достигли стен, с седел выпрыгнули на них и были опрокинуты вниз. Кучами расселись они вокруг города, кося от ярости глазами. Из-за стены выехал парламентер, но во время переговоров с вышедшим полководцем, осажденные сделали вылазку и вырезали полчище татар. Полукругом у города бушевали татары, ловили у жителей даже последних мышей и крыс, пока те не начали есть своих мертвецов.

Их предводитель пришел, истощенный, поутру, чтоб сдаться, держа на виду в руках саблю и белый плат. Он встал перед Тимуром:

— Ты победил! Я принужден бежать! Куда? К тебе!

— Я сумею это наградить,—сказал Тимур и передал его ветру погибели.

С жаждой мести в руках ждали татары его знака, потом ринулись в город. Сын Тимура, Кезер, поймал начальников и переломил им спины, словно стрелы. Зейнабеддин получил удар копьём в рот. Еще со стрелой в бедре он пришел к Тимуру, показал рукой, что не может говорить, положил голову к его ногам, и поспешил, улыбаясь, из своей молодости в могилу.

Татары срывали двери, в окнах блистали их умощенные груди. Играючи летали сверкающие ножи. Тимур потребовал семьдесят тысяч голов. Руки их утомились,

языки возбужденно шевелились во рту, усталые, как собаки, перекупали они головы друг у друга.

Тимур повелел им проскакать мимо него. Они держали головы в руках. Китайка стояла рядом с ним под золотой кровлей шатра. Она ударяла в грудь руками.

Кезер предводительствовал отрядом умершего Зейнабедина. Его грудь была выпячена, а живот втянут, так что, лежи он, собака с поднятым хвостом, могла бы пробегать в выемке его тела. Две похищенные женщины лежали у него на седле.

Вскачь добрались они до ущелья Конгец, которое запищали три всадника, уложившие перед собой вал татар. Когда приблизился сам Тимур, на него вышел самый большой из трех и жарко ударил его по шлему, так что тот, ошеломленный, остановился, как столб. Перелезши через утес, Кезер швырнул к его ногам отрубленную голову великана.

Под ним расстилалась гладкая местность, без возвышенностей, с плодовыми деревьями, родниками и украшенная многими беседками.

Они отдыхали в этой местности и наслаждались сияющим солнцем, все еще храня в костях мороз кружащейся снежной вьюги. Однажды в полдень, когда Тимур приказал разбить увеселительный шатер на лугу среди тюльпанов, вышла из заросли коза, больше лошади, с одним рогом на лбу и густо обросшая зеленой шерстью, свисающей до земли. Китайка, стоявшая рядом с Тимуром, с криком пригнулась к земле.

Животное шло на них медленными шагами, устремив глаза и рог в грудь Тимуру, но непосредственно перед ним, оно изменило направление своего движения. Оно подняло нос к небу и описало дугу. Чем дальше оно удалялось, тем сильнее блестела его шерсть, пока, наконец, белое облако не скрылось опять в заросли.

Китайка трепетала всем телом и колотилась головой об землю от отчаяния, которое, наконец, прорвалось. Она вскричала:—Довольно! Довольно!—и не помнила себя. Он спросил ее, почему она этого хочет, и она ответила, потому, что она его любит. Он же, нахмурясь, посмеялся над ней. Сзади них стояли негрятки и Мизер-Улек. С лицом неподвижным, как парус, она прошептала:—Расплата за трусливых военачальников, визжащая мышь.— Но Тимур встряхнул косматыми волосами, так что она замолчала.

Он велел позвать Гуинеса в шатер и нарисовать розу ветров для азиатских земель. На две трети он ее заполнил красной краской. Он указал на остальное. Прозрачные, широкие глаза его озирали шатер; он сказал:

— Это отдано в мои руки! Оставлю ли я другое?

Ее губы сложились в: «Слишком много», но дыхание ее не дало этому силы, ибо когда она увидела его огромный лоб, перед ее глазами рушилось и последнее знамение, и, побледнев, она пала перед ним и пообещала поставить свою любовь выше страха и убить голос, говорящий из нее.

Она молчала,

Молчала месяцы. Ее влажные фарфоровые взоры светились голубым светом, как луна.

Однажды ночью заржали кони звонко и дико. Это была белая ночь.

В шатер ввели посла.

Военачальник Баязетского султана слегка поклонился Тимуру и объявил ему войну. Его голос был тверд и благороден. Тимур подарил ему коня. Он попросил разрешения выехать на нем завтра против Тимура. Тимур кивнул головой.

— Я буду чтить подарок,—сказал военачальник.

Тимур задержал дыхание, потом грубо сказал:

— Я сведу его завтра на нет.

На следующий вечер Тимур вернулся в свое становище через согбенную спину султана. Из отрубленных голов он построил башни. Они вздымались в небеса алчнее, чем минареты Самарканда. Татары катились в Константинополь. Они заставили звонить колокола и раскинули шатры в садах, у моря.

Как женщины, были убраны татары тюбанами с драгоценными камнями. Их испарения заглушала амбра. Пелены из мечетей они перекраивали на чепраки. Золотыми цепями опутывали себе волосы и удила коней.

Тимур объявил поход на Египет. Предводительствуя войском, ночью на походе, достиг он Тавриза, где обитал один из его сыновей. Они прискакали к дому, который он занимал. Сады были освещены, челядь и музыканты суетились в свете фонарей, среди кустов.

Они оставили лошадей кормиться во дворе и поднялись наверх. В большой зале возлежал он на куче ковров. Окна были открыты во внутренние сады, которые поднимались, синие, как фиалки, в светлых сумерках.

Винные ковши были разбиты, вино разлито, красавица в его объятиях истерзана, шарф измят. Из угла слабо доносился бубен. Вынув на мгновение изо рта флейту, со спутанными волосами, как женщина, которая надувшись, обращает к стене ночью свое лицо, взглянул он в сторону, не видя Тимура. На коврах повсюду лежали спящие, перед окном на ветке, бел газеллу явственно видимый соловей; тем не менее, они не просыпались.

Тимур, выйдя вон, дал сыну время для вытрезвления. Он разбил шатер в саду, над которым раскинулись звезды. У него не было времени оставаться. Перед отъездом поутру, повелел он привести к себе сына.

— У меня есть полчаса для тебя,—сказал он.—Что ты сделал с тех пор, как я дал тебе область, каких шерифов ты победил, какими странами завладел? Покорял ли ты себе крепости, взрывал ли города?.. Брал ли в плен мастеров и воздвигал ли сооружения?.. В каких полчищах ты водворил порядок, какие восстания подавил?.. Торопись в своей речи, у меня мало времени для тебя, пусть будет воздано по заслугам.

Сын потупил глаза.

— Ничего!—сказал Тимур.—Ты роскошествовал, пил, ты мягко спал. У тебя нет военачальников. Страна не

защищена, границы не расширены, ты не совершал никаких набегов. Венки возлагал себе на голову, как грек.

Юноша поднял изнеженную голову и сказал упрямо:

— Ты ли не устраивал пиры, как ни один хан? Не валились ли у тебя по всей степи целыми днями воины? Не у тебя ли самый большой гарем?

— Ты упрекаешь меня? Хорошо! Сосчитаемся.—Тимур подошел к нему, наклоняясь вперед и покачивая бедрами:—Хорошо. Однако...—Он сжал губы так, что образовалась складка, и сквозь заглушенный звук сдавленное хрипение поднималось из глубины.

— ...Я их заслужил. Завоевал. Ты думаешь мне они ничего не стоили, как тебе? Веришь ли ты в подвиги духа, борьбу души? Знаешь ли ты искусы? И преодоление?.. Знаешь ли ты, в каких терниях мучений возникает подвиг? Я не могу видеть крови, а я должен ее проливать, дабы возвыситься таким путем выше всех.

Испуганный этим хриплым и презрительным голосом юноша пал ниц и просил в тревоге, чтоб его не ссылали в пустыню Циприбет, где Тимур держал опальных эмиров. Его боязливые детские глаза выжидали.

Тимур прищурил глаза и несколько мгновений глядел на сына.

Потом открыл завесу шатра и сказал:

— Это было бы наказание, за то, что ты жил без пользы. Но знаешь ли ты, что не смеешь более жить, после того, как раздражил меня настолько, что я тебе об этом сказал.—Юноша, пообедав, упал перед шатром. Татары

отнесли его в сад, где Галбудзамуровые цветы отравляли ветер, обвевавший его, возлежавшего на ложе из роз, с разметанными кудрями.

Полумесяцы маковок на зеленых знаменах Тимура катились через реки и мертвые заливы моря. Палестина наполнилась всадниками, курносыми, с вздернутыми губами и оливкового цвета щеками. Их острые глаза раздвигались наискосок ко лбу. Они ехали к шумящему морю, которое, белая, круто поднималось перед ними. Они не могли двигаться далее.

Они скорчили рожи, забрызганные, испуганные, обернулись и ринулись назад в жаркую, волнующуюся пустыню. Они миновали приморские города, разбили Иерусалим, пустили рой стрел в Дамаск. Избивали мамелюков, вешали мужчин за ноги, женщин за груди.

Когда Тимур, при помощи катапульт, поджег Алкаир, египетский султан с плачем ступил на землю бегства. Полумесяцы осадили город. Он горел на тридцать паразанг кругом, так что ночь стала светлой.

Темной точкой в красном дыму выделялся на небе молодой властелин и смотрел на свой город до тех пор, пока башни и купола с треском не развалились. И только после этого бросился он с плотины в Нил.

В эту ночь Мизер-Улек соблазнила одно курдистанское племя, последним отпрыском которого она была, чтобы оно, внезапно напав на собственный арьергард, отложилось от Тимура и, похитив китайку, бежало. Мизер-Улек не взглянула на китайку. Она сидела на бего-

вом верблюде в переплетенной камышом проволочной корзине, за решеткой, среди поклажи.

Якоу донес об этом Тимуру еще ночью, вступив в шатер уже одетым в голубую войлочную одежду—знак печали.

— Китайка,—прохрипел Тимур. Потом он взревел. Но сейчас же овладел собою, подал руку стареющему Якоу и оставил его речь без внимания. Встряхнувшись, он преследовал египетского властителя три дня, пока, наконец, не поймал его, кака зайца. Его привели барахтающимся на аркане.

Но Тимур его не заметил. Он обратился к иному. С тремя тысячами отборных военачальников раскалял он землю ударами копыт. Доги неслись по следу впереди них.

Они настигли племя в каменоломне. Тимур сам вырвал шаху глаза. Других они сварили в семидесяти котлах. Там были два князя из рода Тимура. Они варились. Его лицо было неподвижно. Бледная, с покрасневшими краями век стояла позади него китайка.

Вечером к нему ворвался племянник с кинжалом в руке. Тимур отсек ему нижнюю часть руки саблей.—О мне умереть, умереть!—стонал юноша, который желал отомстить за своих братьев. Тимур предал его смерти.

— И ты убил своего дядю,—сказала китайка.

— Этого хотел бог,—гордо сказал Тимур.—Чего хочешь этот молодчик?

Надменно предстала Мизер-Улек пред судилищем, составленным Тимуром из князей. Она убралась драго-

ценностями и нарумянилась, как великая государыня. Стража по ошибке отвела ее сначала в шатер эмира, начальника стражи. Тимур велел бить эмира палками по пяткам, ибо она была из его рода, и он даже в гневе чтит ее, не желая, чтоб она пребывала в доме подданного.

На суде не говорилось ни слова о похищении китайки. Об этом не упоминалось. Мизер-Улек не издала ни звука. На суде, словно по уговору, шла речь о некоем сеиде, которого Мизер-Улек, — за то, что он не принес ей поздравления с днем рождения, — повелела заколоть на улице в своей китайской столице. Этого города она никогда не посещала, постоянно следуя за войском Тимура. Она была приговорена к тысяче баллишам золота.

Быстро скользнул по китайке ее взгляд, колющий и холодный.

Она не ответила ни слова. Лицо Тимура оставалось неподвижным, когда она, та, которая была пламенем его замыслов, прямая, высокая, звеня подаренными ей драгоценными камнями, покинула покой.

Она постилась десять дней, но жизненность живучей кошки, дремавшая в ней, исчезла лишь с трудом. Когда на одиннадцатый день голос божества прозвучал ей, она, все еще прекрасная, вскричала бледными губами: — Я готова! —

Ни одна жена, кроме китайки, отныне не приходила на ложе Тимура.

В долине, полной тихих трав и зверей, жил он с ней полгода и гонял лебедей на озерах.

Лунное затмение пробудило его, он вернулся в Самарканд, снарядил индийский поход, увозя с собой безжизненную китайку. Военачальники вошли в темный маленький домик, над садом были холщевые навесы, фонтан щелкал. Гуинес озирал мерцающий бег звезд, встающих из-за дальних гор. Тимур заполнил почти до конца последнюю треть своей розы ветров. Из всех областей Азии собирались войска в долину, всходили на горы и устремлялись в равнину.

На одном южном горном хребте повстречались им люди, гордые, как боги, с белой кожей, загоровшей на солнце, обнаженные, бегущие по глубокому снегу. Безоружные, подошли они ближе, уперлись руками в бока, смеясь пропустили скачущих мимо татар. Они звались Зиануш. Тимур приказал столкнуть их вожда вниз с ледника. Он полетел, раскинув руки.

Тимур первым пустил своего коня в Инд, потом войска скакали целый день и взмутили поток. Возле каменной коровы, из вымени которой течет семью струями Ганг, опрокинул он войска индусов.

Он повелел сложить живых пленников в виде башен, положил между ними влажную глину и бревна, оштукатурил их. Как змей извивались башни до ночи. Потом затвердели.

С'езжившись в своем шатре, с широко открытыми глазами, он нетерпеливо сказал послам, когда прибыли индийские трофеи: — Что вы пришли? Разве я устал? — и послал им в обмен смертный приговор.

И здесь также китайка разделяла его шатёр.

На нижнем Ганге передовой отряд поймал одного принца, прекрасного, словно спящего, так что ослепленные его красотой попугаи китайки запели, как жаворонки. Тимур повелел закатать его на смерть, завернув в шелковые ковры, дабы достойно почтить его красоту—его, за которого многие пламенно молили, как рабы.

По берегам реки, вслед за ним, двигались вздрагивающие башни, извивавшиеся в пурпуре знойных вечеров.

Татары потекли вниз с гор... Стрелы засыпали леса, конское ржание слышалось в потоке.

Тимур бросил войска на Дели.

К ужасу трехступенной столицы, однажды утром, из-за поворота появились тысячи судов с красными парусами. Синяя стальная лента потока содрогалась. С треском громили татары катапультами бревна. Лучники в латах, окаймлявшие берег, окрасили выстрелами реку в алый цвет, так что она выступила из берегов.

Прочное кольцо лежало вокруг Дели. Другие войска рассеялись. Сверкая, как слепни, повергали они под конские животы страну до самого моря. Когда волны, бушуя, взметнулись пред ними, они, скрежеща зубами, повернули обратно.

Из Дели выступило войско. Долина лежала, затопленная коричневыми индусами. Колыхались слоны с отравленными кинжалами. Гремели колокола, литавры и барабаны. Из татарских рядов полетели стрелы. Ринулись

быки, с пылающим хвостом между рогами, с темными налитыми глазами.

Орды татар врезались в коричневые массы, острыми кольцами вырывали они из тел хоботы слонов. Долина плевалась кровью в рукав Ганга. Коричневые исчезли. Татары добрались до ворот. Ночью на поле танцевали гибкими прыжками вырванные хоботы.

Татары с выгнутыми ляжками, кривоногие, наводнили предместье. Три дня потрясали они ножами. Огнепоклонники бросали в огонь своих детей и жен, мусульмане душили их, из страха перед татарами, и сами с изрубленными телами, падали под татарскими саблями.

После этих трех дней, Кезер швырнул свою саблю о камень, сплюнул и поехал к Гуинесу. Он принудил его побежать к своему отцу со словами, которым он его выучил:

— Я воевал, как немногие из твоих вождей. Ты наградил меня! Я благодарю тебя. Но все же я устал от этой службы. Что я, мясник или собака? Я больше не буду биться внутри города. Я падаю во прах пред твоей мощью, но подумай, имей ты хоть мощь Навуходносора и силу Амалика,—конец дворца—гробница. Рубаха и кафтан, чистая вода и хлеб—вот все, что может требовать прохожий странник, и все же это слишком много для одного. Моя голова принадлежит тебе. Но я прекращаю. Довольно!

Ливень гнал волны воды в шатер, и воздух был полон кровавых испарений. Теперь Гуинес ожидал смерти от

Тимура,—смерти, которой он избегал от Кезера. Но тот послал его призвать Кезера.

Тимур поднял бровь и произнес:—Мальчик...—Больше он не выговорил ни слова, ибо человек, низвергший десять шерифов, лал на колени.

Китайка посмотрела на него мерцающими глазами и подняла к волосам руку.

Когда дождь полил грознее, они разостлали по улицам войлок, который впитывал воду, и продолжали резню. На четках в окнах многоэтажного дворца висели раджи. Нефтяные фейерверки поджигали реку.

Когда город опустел, Тимур заполнил последнее белое пятнышко на своей розе ветров. Мир лежал у него на коленях, покачиваясь в такт его дыханию, не было зверя, недостижимого для его стрел.

Так возвеличился он надо всем.

С тела китайки спала оцепенелость, в пылающем объятии обвилась она ночью вокруг его груди.

Но время еще не приспело.

Якоу явился из города последним, с трясущейся головой установил огромные толпы пленных, поцеловал подошву Тимура и не говоря ничего более, отягченный ярмом месяцев удалился в угол своего шатра, и с тех пор обратил лицо свое к нише богопочитания.

Его дело было окончено. Его руки скользили по драгоценным тканям, которые он складывал, пропуская между пальцами, и в скользящей чреде дней глаза его приобретали уверенный, спокойный блеск.

Путру пришел в качестве посла греческого Императора князь Шируанский, расставил перед шатрами девять тюков с благородной утварью, девять верблюдов с коврами и восьмерых ученых рабов с арфами, циркулями и бумажными свитками. Они спросили его, где же девятый, как того требует обычай. Он поднял руку, обвел ею кругом и приставил палец к собственной груди.

Войска Аксаллы, которые рассекали берега, с грохотом вернулись обратно. Аксаллы не было. Его писец принес от него послание. «Сорок лет воевал я вместе с тобой. Смерть застигает меня на море. Я умираю в досаде, что не могу вместе с тобою брать Дели. Но я недостаточно велик, чтобы вместе идти до конца».

Было жаркое утро, совершенно желтое от зеркального света. Рот Тимура был замкнут, когда он проходил с китайкой, любясь сокровищами, величайшими в мире. Лучи потоками струились над ним.—Одинок,—сказал Тимур,—но у цели.

— Будем жить,—сказала китайка.—Все преодолено.

Вечером он повелел согнать вместе пленных. Они наполнили всю горную котловину. То была сотня тысяч тел, вокруг которых нависли желто-известковые горные склоны. Против них Тимур поставил двумя полукруглыми свои войска на другом конце долины. Ночью отошла река и оставила серебристые водоросли. Горячие фонтаны били вверх кругом становища, и две кометы прорвались сквозь нависшее небо.

Утром вышел Тимур из шатра.

Потом он взошел на холм, который конусом возвышался посреди долины.

Слева кипел в котловине, несдерживаемый, бьющий о стены, коричневый поток пленных. Справа стояли готовые к наступлению татары. Между ними, у подножья холма был помост, и один татарин, подняв кверху лицо, держал в руках полуоткиннутый ковер.

Татары стояли неподвижно, как отлитые, закусив зубами поводья. Лошади со вздернутыми головами, выставили ноги вперед. Кривые сабли сверкали на солнце. Кроважадные, они висели по склонам гор, как два вздувшихся облака.

Тогда китайка поняла.

Радость погасла в ее взорах. И, прерывая молчание, обратила она к нему свою потрясенную душу и стала заклинять его. В то время как тихая безмятежность, которую она впитывала в себя из былых дней, рушилась пред новой мукой. Она описывала ему простоту его садов, каналы, реки, дворцы, Самарканд.—Будем жить. Оставь излишнее.—Она полукругом выгнула рот, так что запруженное стремление ее речи заструилось по лицу—и замолкла.

Глаза китайки метали пламя. Тимур покачал головой.—Я дойду до конца.

— Бог воспрепятствует тебе в моем лице.

— Ты была лишь бичем Божиим, дабы я не знал отдыха.

Она сорвала с криком с груди одежду и застонала:—О, если б я тебя убила! О, если б я тебя убила!..

Одним прыжком обернувшись, она, приставила руки ко рту и встав перед Тимуром, крикнула вниз, по направлению к помосту:

— Держалый завесу! Опустит завесу! Кончилось представление!

Но ничего не произошло в ответ на ее слабый крик, не долетевший до низу. Она обернулась, опустив руки.

Внезапно она увидела на лбу Тимура место, куда попала стрела, посветлевшее, словно красная звезда, от которой разбегались в разные стороны и светлели желобки. За его головой из-за горного хребта вставало солнце, и его лицо, просветленное, вращалось, словно булава, в гранит среди красных кругов, которые замыкались и рассеивали свои лучи, уже воспламенявшие предельный горизонт.

Тогда подняла она ко лбу руку и пала, отброшенная молнией от этого лица.

Но он, подойдя к унавшей женщине, поднял ее и, взяв тетиву со своего лука, затянул вокруг ее шеи. Потом он укусил женщину в шею, набрал полный рот ее крови и дал знак поднять завесу. Он зашагал вниз к шатрам, сотрясаемый призывавшим его богом, даже в этом последнем действии сияя, как золото, своим бессмертным лицом.

Перевела с немецкого

М. Елагина.

СОДЕРЖАНИЕ.

	<i>Стр.</i>
Предисловие А. Гвоздева	7—12
Бог	13
Герцогиня	63
Покоритель	111

Перевела с немецкого

М. Елигина.

